В. Вейдле

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

Вашингтон 1976

В. Вейдле

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

Из ранних воспоминаний



Вашингтон 1976

Книга отпечатана в собственной типографии издательства

VICTOR KAMKIN INC.

Rockville, Md. 20852.

U.S.A.

Лети, кораблик мой, лети...

Жизнь моя, если о времени подумать и о судьбе моей страны, была до неприличия благополучна. Не воевал. В лагерях и тюрьмах не сидел. Бывало, что и подголадывал, но вполне тягостным или мертвым делом, сплошь для одного пропитанья, не занимался. Идеологией (той самой или отражением ее навыворот) не был заражен, и от порабощения ею тоже ускользнул. Против совести ни говорить, ни писать, ни поступать не пришлось. Смерти совсем близких людей вблизи не видел; о своей с особой мукою не думал. Не был и любовью обойден. Имел друзей. Повидал почти все, что мечтал увидеть. Сколько книг прочел, и каких хороших книг! Многое помню или могу вспомнить неувядаемо отрадное. Счастливчиком был, хоть и в голову мне не приходило "гнаться за счастьем", да и само это словцо никогда я всерьез не принимал. Таким, как я, говорят, везет. Каким это "таким"? Об этом я подожду рассказывать.

Но зачем и вообще о себе начинать рассказ? Вероятно, незачем. Я и себе не кажусь очень уж необыкновенным, а жизнь свою не считаю ни образцовой для кого бы то ни было, ни достойной большого удивленья. Просто так, разрешаю это себе: занятно. Давно собирался. Все откладывал. Слишком долго? Может быть. Начну, все равно. Потешусь; началом особенно. Декабрь на дворе... Огонь разведу в камине (воображаемом, конечно), погрею руки. Не так уж я, впрочем, и озяб. Да и солнце, в наших краях, застенчиво и ненадолго, но порой и в самые темные дни года выглянет. Почти не греет, и то правда; но мысль о тепле дает.

Есть у меня строчка в ненапечатанных стихах полувековой давности:

И лучи на полу, и тени; это зимнее солнце за окном...

Вот уж не думал, что пригодится, что вспомню ее теперь по-новому. Пусть первая часть жизнеописания моего так и зовется. Длинной она будет? Не знаю. Последуют за ней другие части? Бог весть. Да и жизнеописание ли это, в точном смысле слова? Вспоминать имею намерение с выбо-

ром. Это не исповедь. Об иных "интимностях", ради эвфемизма так называвшихся, или таких, о которых и впрямь лишь "на духу" говорить надлежит, я и вообще распространяться неспособен. Но это и не мемуары. И не совсем автобиография, уже потому, что будет очень неполна. Ведь я - счастливчик; вот и буду все больше рассказывать о том, с кем или с чем посчастливилось мне встретиться. И кривить душой, ради сторонних каких-нибудь выгод, не стану: как неинтересно было бы тогда писать! Но кривдой было бы и уверять, что "пишу для себя". Ведь и тот, кто это сказал, не думал этого всерьез. А "печатаю для денег"? Этому никто и не поверит. На широкий сбыт, даже если условия печатания в русском зарубежье были бы другие, я бы надеяться не стал. Думаю просто, - так как не собираюсь писать иначе, чем с удовольствием, - что удовольствием этим быть может кое-кого и заражу; позже, если не теперь. Да и диковиной все равно покажусь, как бы обыкновенен ни был, соотечественникам моим, в конце века, перемены видевшего, которых на три хватило бы с лихвой. Так что бумажный кораблик мой спускаю на воду, как другие спускал в те времена, с которых начинается мой рассказ. Плыви! А если потонет, что ж, ведь и гибели его я своими глазами не увижу.

В конце недавнего лета, зашел я в Тюильрийский сад, с которым жил по соседству и где часто бывал в первый год моего парижского житья. Вспомнил сперва Пруста, когда подошел к бассейну, возле Площади Согласия, где он в детстве кораблики пускал. Как раз и теперь, с помощью папаши, мальчуган спустил на незыблемую гладь пруда что-то большое и твердое вроде чуть ли не пакбота. Нет, не о таком я думал корабле; в прустовские, и еще в мои времена, было иначе. Я сел на белый железный стул. Сидел долго. И вдруг всплыла во мне строчка из "Тяжелой лиры"

Лети, кораблик мой, лети -

вот, вот: "Кренясь и не ища спасенья"... Пусть и останется стих этот на первой странице моей книги, - на первой странице книги, которую, наконец, пишу.

Большая Морская, дом № 4

Дом этот, у самой арки Главного Штаба, принадлежал моему отцу пополам с его сестрой. Наша квартира была в первом этаже; там я прожил первые одиннадцать лет моей жизни. Тетя Миля жила над нами; повыше, не знаю кто; а на четвертом - доктор Левицкий. Дом был средних размеров; другой стороной, попроще, выходил на Мойку, но и главный фасад его был скромен, без затей. Внизу, под нашей квартирой, было торговое помещение, но я не могу припомнить какой коммерцией оно было занято; вероятно очень скучной: не на что было с улицы поглядеть. Знаю зато, что некогда был там магазин кожаных изделий, вроде Кнопа или Бэхли, неподалеку на Невском, сохранившихся до моих времен, и что принадлежал он моему деду, умершему задолго до моего появления на свет.

Дед мой был выходец из швабского городка, где и нынче людей с той же фамилией, как нерезаных телят; я даже памятник мельком там видел одному из них - не то чиновнику, не то военному - в чем-то похожем на мундир, но невразумительном для меня. Городок это не простой, не бесславный; старинный и очень живописный городок. Тюбинген его имя. Там сорок лет безобидным полуидиотом прожил один из величайших поэтов своего и всякого времени, Фридрих Гёльдерлин. Там же он и учился, вместе с Гегелем, однокашником своим, в знаменитой протестантской высшей школе (Stift), позже ставшей университетом. Только деда моего, в этом городке, не писать книги научили, а всего лишь их переплетать, и когда годы странствий наступили для него, занесен он был в чужую снежную страну, откуда домой и не возвратился. Там и отец мой родился́, не в простом, опять таки, году, а в сорок восьмом, - памятном, впрочем, у нас, главным образом, жестокою холерой, от которой тогда же и умерла чуть ли не половина братьев его и сестер. Всего детворы этой было двенадцать человек, но кроме отца и той сестры, с которой совместно унаследовал он дом, только еще один брат дожил до зрелых лет, хоть и не пережил родителей.

Незадолго до моего отъезда из России, нашел я у букиниста творения Шатобриана в прижизненном четырехтомном издании, переплетенном в шагреневую кожу, и купил эти тома, потому что на нижнем ребре всех четырех корешков крошечными золотыми буквами выгравирована была моя фамилия. Значило это, что дед мой переплетчиком был незаурядным; оттого, должно быть, и превратил со временем свою мастерскую в солидный, на покупателей с достатком рассчитанный магазин. Там и отец мой когда-то ему помогал, но ко времени, когда началась моя жизнь, магазина больше не было. Зато был еще и другой "собственный дом", на Литейном, единолично отцу принадлежавший, да и состоял "потомственный почетный гражданин" Василий Леонтьевич Вейдле (а не Вильгельм Людвигович, как в былые времена), членом правления Волжско-Камского (если не ошибаюсь) банка, и ревизионной комиссии (Бакинского, кажется) нефтяного общества. Не делал он, собственно, ничего; купоны отстригал, на бирже поигрывал, руками своими если что и мастерил, то так, по домашней надобности, а верней по дружбе с гвоздями и молотком, со стамеской, клеем и отверткой: капиталист этот (не Бог весть какого капитала) ремесленником остался на всю жизнь. По рукам это и было всего видней. Руку его, шершавую немножко, широковатую, крепкую, я больше всего и любил; хорошо мне было, когда гулял он со мной, маленьким, и мою в своей держал. Люблю и сейчас, хоть и нет его давно, хоть и больше мне лет теперь, чем было ему, когда он умер.

Гуляли мы с ним чаще всего по нашей же улице. Большой называлась Морская, покуда Малую улицей Гоголя не окрестили. Хороша была! Должно быть и нынче хороша; только ведь и машин тогда еще не знали, разве что собирались узнавать. Дрожки бензином не пахнут; славно по торцам конские копыта цокают. Своего выезда у нас не было, но ведь роскошеством любуются и со стороны не слишком завистливые души. Экипажи, кареты, сани с медвежьим пологом, под синей сеткой пара вороных - на все это я глядел, как на деревья глядят в лесу: не в свой же их садик пересаживать. А во дворцах, зачем в них жить? Вот и царь,

слышно, в Зимнем не живет. Но с Дворцовой Набережной, сколько себя помню, я всегда дворцами любовался. И вот - из окна гляжу - подстегнет толстый кучер коня, проскользнут сани под Аркой и вылетят на необъятный,полукругом позади замыкающийся простор, еще необъятней кажущийся зимой, когда заиндевеют булыжники и торцы, или повалит снег, и едва видимый сквозь хлопья золоторотец у Столба спрячется спешно в полосатую свою будку.

Но прогулки я помню больше и в другом направлении. Мы к Невскому шли по нашей стороне Морской, левой, если от Арки идти. Первый дом, номер шесть - гостиница "Франция" с рестораном "Малый Ярославец" (никогда не был ни там, ни тут), а чуть подальше французская булочная, где круассаны и шоссоны совсем такие же были, какими я угощаюсь полвека в Париже, но где продавались также "французские булки", французам двадцатого столетия неизвестные, но выпекаемые еще, по старой памяти должно быть, как и некогда у нас, в нынешней Испании. Потом был ювелир Боли́н, высокой, без сомнения, марки, потому что швейцар его в расшитом золотыми галунами суртуке, был на голову выше такого же в подъезде гостиницы "Франция". На углу, табачная лавка забавляла меня колечками на гаванских сигарах; и тут же дежурили посыльные в красных фуражках, не менее, на мой взгляд, забавные. А если не тут, то напротив, у дома мебельной фирмы Тонет, - и поныне, как я рад был в Вене узнать, фабрикующий венские свои стулья.

Перейдя Невский, мы в закусочную Смурова не заходили и на бельэтаж огромного розового дома лишь изредка поднимались, чтобы купить черно-бурого глицеринового мыла в Английском магазине. На Невском, напротив, "Цветы из Ниццы" сияли зимой сквозь замерзшее стекло. - Но всего милей был четвертый угол, от сигар наискосок. Дациаро там помещался, художеств поставщик и всего нужного художеству. Высоко над ним, Юлий Генрих Циммерман одним уже именем своим радовал музыкантов, а посередине возле окон второго этажа, над улицей, на чугунном укрепе, монументально-карманные часы, по воле Павла Буре,безошибочно

отвечали на вопрос, меня в ту пору едва ли очень занимавший.

Который час? Зачем мне было спрашивать об этом? Другие знали за меня часы и дни, и месяцы, и годы. Незаметно длились они, как ускользают теперь, тоже, но по-иному незаметно.

Идем - когда это? - мимо кремовых тяжелых гардин ресторана Кюба́, мимо лучших сундуков и саквояжей (так мне было сказано) Петербурга. Фью, фью, как время летит! Но ведь и всего полтора десятка лет прошло... Когда в шестнадцатом году подумывать стали об эвакуации Эрмитажа, хранитель отдела драгоценностей, барон Фелькерзам, именно здесь и заказал великолепные кожаные чемоданы - сколько дюжин не знаю. Не в ящики же сокровища укладывать! Так в Мюллеровых шедеврах свиной кожи их в Москву через год и увезли. - Но ведь мы с миллерами воевали? - Мало ли что, с чужими, не с этими...

Назад! Назад! Век еще в колыбели, и малыш с отцом далее пошли. Вижу их отсюда: вывески читают (по ним, рассказывали мне, я и выучился читать). Русских имен было тут не много, но ведь русскими буквами начертаны были и нерусские. Впрочем, не всегда. Когда я научился звуками наделять и наши и чужие, подошли мы однажды к особо нарядному дому, где на гранитной облицовке начертано было золотыми некрупными литерами нечто сразу же вслух и прочтенное мною: "Фаберге". Отец улыбнулся и сказал: "Нет, читай Фаберже; это французская фамилия". А напротив - позже я узнал - хоть и чех он был, важный этот портной Ка́лина (по-нашему Кали́на), а величать его по-французски полагалось Калина́.

Дальше реформатскую кирку миновав, широко изогнувшись, с Мойкой встречалась и вдаль уходила Морская. С прогулки по ней, кажется, и в самом деле, грамотность моя - русская, да впридачу и басурманская - началась.

Домашняя среда

Женился мой отец поздно: сорока пяти лет. На двадцать один год был старше своей невесты, провинциальной девушки из Либавы, дочери морского врача, под конец жизни получившего должность смотрителя маяка на маленьком острове Балтийского моря, что не лишено было выгоды для прокормления семьи. Детей у него было даже не дюжина, как у другого моего деда, а целых семнадцать человек, из коих и выжило не трое, а семеро. На островке этом я в детстве побывал. Гребной баркас, куда мы пересели с парохода, мать и меня туда доставил. Море было недружелюбно; укачало нас мертвецки; но жизнь на маяке была сказочной, - такой пустынной и вольготной, что как-то я даже не всегда бываю убежден, что видел ее не во сне. Прожили мы там недели две, так что этого моего дедушку я чуть-чуть помню; а вскоре после того и еще раз я его увидал - в гробу.

Хоронить его привезли в Петербург, где вдова его у одного из своих сыновей потом и жила. Когда взяли меня подмышки и приподняли, чтобы я приложился к холодному его лбу, меня поразил его вблизи увиденный нос. Чрезмерно пористым показался, и я с преступным равнодушием, когда на пол меня поставили, спросил, отчего это дедушкин нос стал чем-то вроде большого наперстка. С бабушкой через несколько лет прощался я там же, и мог бы вспомнить при этом еще неизвестный мне тогда стих Державина "Где стол был яств, там гроб стоит". Хлебосольна была, при малом достатке, до крайности. Каждый раз, как меня к ней приводили, всевозможной снеди столько наставлено было в разных сосудах на столе, что я испытывал в первый миг замешательство и падение аппетита; а теперь бабушка лежала в гробу на том же столе, - в широком гробу, не худенькая была; и не одна лежала: кошка,ею любимая, у ног ее свернулась клубком. Насилу прогнали перед самым выносом.

Девичья фамилия моей матери была Ге́орг; никто ее с ударением на первом слоге не произносил. Семья была православная, обрусела давно; тогда как отец мой был лютеранин. По российскому закону мне полагалось быть православным, и я в православии был крещен. Владимиром меня нарекли в честь

старшего брата матери, военного врача, особо уважавшегося ею. Вероятно он и был крестным моим отцом; другого не помню; умер он, когда я пребывал еще в младенчестве. Крестной же матерью моей была племянница отца, дочь тети Мили, подросток в те времена, Женичка Бюлер, по мужу впоследствии Бёккель; милая Женичка, баловала меня вроде старшей сестры (я ведь был единственный сынок). День рождения ее приходился на сочельник. По-рождественски его праздновали, и подарки под елкой для меня всегда лежали преизрядные. Подымешься на этаж выше - тут они тебя и ждут. Позже, ее муж большим затейником оказался по этой части, только дарил мне чаще всего какие-то замысловатые машины, или пушки, броненосцы, я же и оловянных солдатиков не жаловал, а машин совсем терпеть не мог. Так все это, в коробках, на какие-то дальние полки и запихивал.

- Вейдле, Бюлер, Бёккель или, хоть не Ге́орг, да Гео́рг... к тому же и в немецкое училище, когда срок пришел, учиться тебя отдали... Немчура ты, милый друг. Сознавайся. К этому небось разговор и вел, когда о прогулках своих с отцом рассказывал и чужеземные имена на вывесках перечислял?

Не все они были немецкими, но нерусская примесь и в самом деле характерна была для тогдашней России, в отличие от нынешней; для Петербурга особенно, хоть не отсутствовала и в Москве. А собственную мою немецкость отрицать, поскольку она во мне есть, я ни малейшей потребности не чувствую: многое немецкое люблю или высоко ценю. Должен, однако, сказать, что родители мои - при мне, по крайней мере, и со мной - никогда по-немецки не говорили. Отец говорил по-русски как русский; мать немецкий язык знала, но он не был для нее родным; я же,по-видимому, очень рано его перенял от тех двух бесцветных остзейских "бонн", из которых я и вторую едва помню. Так буднично, машинально перенял, в отличие от французского, чуть позже, что осталось у меня незыблемое чувство, будто французский был моим первым чужеземным языком.

Своим, однако, был русский, который мне всех "клейких листочков" и разудалых троек дороже. Родным и остался - навсегда. От матери его получил; и от няньки может

быть; недолго она у нас прожила, и помню я ее лишь потому, что и позже приезжала из деревни нас навещать; темноволосая, темноглазая, нестарая еще женщина, так грустно почему-то смотревшая на меня темными этими глазами. А отчасти, быть может, и от словоохотливой повивальной бабки Елизаветы Егоровны, постоянно у нас бывавшей, появлявшейся неизвестно откуда (всего вероятней попросту из кухни) и любившей мне рассказывать, как она спеленутого меня перебрасывала с руки на руку, припевая:

Тритатушки, тритату
То на эту, то на ту.

Сплетница была страшная, но не меня сплетнями занимала, а песенки у нее и другие были, вроде

"Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем на Иордань,
Богу помолиться,
Христу поклониться".

Только я их все перезабыл.

Мне вообще не песенки запоминались, и не сказки, а интонации, словечки, обороты устной речи. Забавляли они меня. Нравилось мне, что о чем-то можно сказать и так, и этак; а если этак, то сказано будет не совсем то же. Пожилая горничная Саша приходила растапливать печку в моей комнате, когда я лежал еще в постели, становилась на колени, долго возилась с поленьями, лучиной, обрывками газет, и рассказывала мне что-то, пожалуй и сказочки порой. Хорошо говорила! Мне хотелось, чтобы не разгоралось пламя как можно дольше...

И еще было одно, в раннем детстве, памятное мне женское существо - русское, покуда француженка, немного погодя, всех их не затмила: Ольга Ивановна, домашняя портниха, подолгу живавшая у нас на даче, а в городе появлявшаяся лишь изредка. Вовсе она и не очень приятная была - горбунья, почти карлица, говорила тоненьким острым голоском; разговорчивостью, впрочем, не отличалась. Зато снабжала меня разноцветными лоскутками шелка или ситца. Целые коробки (из-под гильз) были ими набиты у меня. Перебирал я их частенько, наедине: пестротою любо-

вался. А когда писать меня учили, она матери помогала, буквы я под ее руководством выводил. Когда до цифр дошло, никак я не мог восьмерку одним росчерком пера начертать: рисовал кружок, над ним другой. Терпенье у Ольги Ивановны было; она со мной сладила. И она же, помнится, мне объяснила, что цифру "три" писать разрешается поразному: можно с круглым верхом, а можно и с таким, как у семерки. Но тут случилось нечто, чего она предвидеть не могла и чего я объяснить ей не сумел бы, да и не пытался: тройка с круглым верхом осталась для меня тройкой, и все тут, а тройка с верхом как у семерки стала чем-то другим. Не помню, произнес ли я вслух это слово, но я назвал ее "подъяческим". Одна фигурка - цифра "три"; другая - "подъяческий". Откуда такое слово у меня взялось, не ведаю. Книжным оно, конечно, только и могло быть; в быту никаких подъячих давным давно не существовало. Но ведь и книг я еще не читал. Смутно подозреваю, что семерочная эта верхушка напомнила мне какую-то фуражку с козырьком. Но какая связь между козырьком и подъячим? Может быть в козырьке есть что-то подъятое,подъездное; но ведь дьяк, в таком случае, тут вовсе непричем? Не знаю...

Скажут, что и знать тут нечего: ребячья блажь. Блажь, без сомненья, и не особенная какая-нибудь, а детям вообще свойственная. Но теперь, полвека и еще двадцать, по крайней мере, лет спустя, придется мне сделать два признания. Первое: осталось во мне что-то от такого рода блажи на всю жизнь. И второе: как хотите; я об этом не жалею.

Дача в Финляндии

Именье и дача - пусть и не наемная, своя - две вещи разные. Именьями, как правило, владели дворяне; дачами - мещане. Положим, не в узком смысле слова, можно сказать и горожане, но ведь было же в самом облике дач, в дачном быту, в поездках на дачу, в дачницах, в "дачных мужьях", в карикатурах на все это, публиковавшихся в юмористических журналах, нечто и впрямь мещанское. Помещиков сменили дачники; в этом целая страница истории России. Отчего ж, когда я подумаю о детстве моем и юности, о тогдашнем житье моем на даче, вижу я себя издали каким-то дачным помещиком или чухонским дворянином?

"Чухонским"? Не от себя я это говорю. Финляндию и финнов уважаю. Как раз из мещанского обихода тех лет словцо это и почерпнул. Ничего не было банальней для петербуржца, чем снимать дачу в Финляндии, или ездить в Финляндию к себе на дачу. В ту ближнюю Финляндию - Карелию, Выборгскую губернию - где было много русских, даже и постоянно там живших, и которую острячки наши - только ее - и решались Чухляндией смеху ради называть. Выборг, впрочем был ничуть не русским, а - приятно и опрятно - чужеземным городком, хотя (в купечестве его, по преимуществу) и была заметна некоторая русская прослойка. Но до Выборга от нас то же было расстояние - два часа на тогдашних поездах - как до Петербурга. В нашем Райволе, помимо дачников, сама деревня была русской. Финским было Верхнее Райвола, по соседству; Кивинепп в пятнадцати верстах; аптекарь наш был финн (шведо-финн); начальник станции, почтальон; двух главных лавочников звали Паволайнен, Иккивалки, но третьего - Круглов, и Галкину принадлежал лесопильный завод на разливе, чья плотина и образовала этот широкий, как озеро, разлив; а над гладью его, на самом крутом из его берегов, пятиглавая высилась церковь, с погостом возле нее, где быть может целы и сейчас, под зелеными ветвями, могилы отца моего и матери, если не сравняли их с землей и кресты не срубили на дрова.

Не здесь, посреди села, не в двух верстах от железной

дороги, а в четырех, Красный мост перейдя, отец мой и купил - в тот год, когда мамка в кокошнике (красавица, судя по снимку) грудью меня кормила - пять десятин соснового леса и бревенчатый домик между дорогой и рекой. Одну десятину уступил сестре, а прочие вдоль дороги узорчатой железной решеткой оградил; домик двухкомнатный вбок передвинул (подивился я в детстве, когда о таком путешествии узнал), а посреди участка большую двухэтажную дачу выстроил, с башней в четыре этажа и застекленной террасой с трех сторон. Лес дорожкою обвел, и в длину дорожкой разделил; две аллеи, от дома к реке, одну липами, другую тополями обсадил; беседку с мостиком на реке против дома поставил; купальню подальше; баню на полпути между ней и кухонным крыльцом, - против которого ледник, дерном покрытый и бузиной обсаженный, горкой мне на потеху обернулся, куда я вскарабкивался на четвереньках и скатывался прямо к особнячку (так назывался у нас передвинутый домик, к службам повернутый безоконной своей спиной). Подальше был курятник, сарай, огород, а за ними конюшня, оранжерея, дом дворника-финна, вырастившего там пять человек детей, и садовника-эстонца, где их народилось семеро.

Деревянным, конечно, было все это, как и дача, белой масляной краской и стеклом террас нарядно блестевшая под зеленой крышей. Архитектура ее, что и говорить, бесхарактерной была, ни то, ни се, как и деревянная резьба треугольных высоких фронтонов над большими балконами второго этажа, - южным, повернутым к саду, аллеям, реке, и северным, над газонною площадкой, выходившей к дороге. Назвал бы я позже этот стиль-1896, в насмешку, скандинаво-мавританским. Но орнаментикой и снаружи дом наш не был перегружен, а внутри ее и вовсе не было. Распорядок высоких и просторных комнат был прост, да и меблированы они были без затей, в духе скорее семидесятых, чем девяностых годов, - вполне, как мне и сейчас кажется, приемлемо. Думаю, кое в чем вкус архитектора был поправлен неиспорченным здравым смыслом, свойственным вкусу моего отца. У нас и в саду никаких гномов, стеклянных шаров, фонтанчиков с завитушками не было. Цветники были хороши. Мать моя, кроме

садовника, за ними следила. Объяснялась с ним по-эстонски, немножко знала с детства этот язык. Розы подстригала сама. В жаркие дни клумбы и грядки помогала поливать.

А я? Лежал, быть может, покуда грядки поливали, руки под голову заложив, на лужайке, между соснами, спускавшимися к реке, огородом и тополевой аллеей, слушая легкий, падающий сверху звон колесных лопастей аэромотора, стоявшего возле бани позади меня. Глядеть на тощее это металлическое сооружение, снабжавшее нас водой, было бы скучно; я его и не видел: на небо глядел, на проплывавшие надо мной белые пухлые облака. Скрип колеса при повороте ветра не был мне мил; но тут, мгновенье спустя, и начиналось как раз и длилось полминуты, а то и дольше, это нездешнее звененье. Или, может быть, просто на другой аллее, под тенистою липой я сидел и книжку читал. А подвечер из окна ванной комнаты или с соседнего балкона смотрел как розовеют сосновые стволы в лесу по ту сторону дороги, как бледнеет небо, и как новыми каждый раз шелками его расцвечивает нескудеющий закат. К осени ближе, ходил грибы собирать, за ограду не выходя, в парке, не чересчур расчищенном, на три четверти остававшимся лесом. И брусника,и черника тут росла, и малина, и лесная земляника; и садовая тоже была своя, как и крыжовник и смородина. Между двух аллей в саду яблони посажены были, цвели и давали плод. В конце августа, однажды, проснулся я рано, вышел в одной рубашке из комнаты своей на балкон и вижу, пудель мой Бобка под яблоней "служит", на задних лапках сидит. Подул ветерок, упало яблоко - он схватил его и съел. А там, гляжу, мало ему, опять принялся "служить", просить другого.

Так что, надо полагать, в результате всех этих и многих других, детских, отроческих, юношеских впечатлений, я себя "дачником" и не считал. Тем более, что и в школьные годы, не только жили мы здесь все лето, но и приезжали постоянно на Масленицу, Пасху, Рождество. В последний дошкольный год я тут и всю зиму провел, а карельская солнечная зима, от января до марта особенно, не хуже, по-своему, тамошнего лета. Четыре десятины, смешно сказать! В насто-

ящем русском именьи никогда и не гостил, из мещанства в дворянство никогда перепрыгнуть и не чаял, а вот, хоть убей, однодворца какого-то сыном, в деревне выросшим себя чувствую. И при всей любви к Достоевскому, к Петербургу, как и при всем бытовом неведеньи и усадебной прежней жизни, и крестьянской, избяной, корни Тургенева, Бунина, Толстого чувству моему понятны, а из города, только из города (это, впрочем, к Достоевскому лишь отчасти применимо), так-таки из одних булыжников, торцов и кирпичей - пусть и на Большой Морской - вырасти - хоть и знаю, что удивляться тут нечему, особенно на Западе - кажется мне непонятным и невозможным.

Бедное мое Райвола! Имени твоего по-русски, как и моей фамилии, просклонять и то нельзя; иные тебя поэтому Райволовым звали; нынче же и нет тебя вовсе: Рощиным зовешься. Хапнули тебя. Русскую кличку навязали. А я-то ведь тобой, финскому имени твоему и моему немецкому вопреки, в русском прошлом оказался укреплен; усадебном, а не городском, дворянском, а не мещанском.

Хоть и нет тех могил... Узнал я недавно, когда настрочил уже эти строчки. Ничего нет больше на холме над разливом; ни кладбища, ни церкви. - Как не будет скоро и меня.

Для того эти строчки и строчу: на память о себе; чтобы горсточка пепла от меня осталась.

Поездки заграницу

Вержболово, Эйдткунен - все еще волшебно звучат (не для вас) эти заглохшие, выдохшиеся имена. Поездки на Запад из Петербурга с ними всего чаще бывали связаны. Я их услышал впервые, когда мне было пять лет. Тысяча девятисотый год. Варшавский вокзал. Не помню ровно ничего. Но, говорят, восторгам моим не было конца... Меня берут с собой! Мы едем с мамой заграницу!

В те баснословные времена ничего не было обыкновенней таких поездок. Никаких разрешений не требовалось; достаточно было взять в полицейском участке паспорт, который немедленно выдавался. Не надо было самому за ним и ходить; посылали, например, дворника. Да и предъявлять этот паспорт нигде не нужно было, кроме Вержболова, при отъезде и при въезде. На других границах его не спрашивали, и в гостиницах незачем было его показывать; можно было ограничиться визитной карточкой; можно было под чужим именем прописаться. Русских повсюду встречали особенно радушно: прочно держалась молва о раздаваемых ими чаевых, а также, полагаю, о том, что чаще других они прибегали к услугам, иначе и не награждаемым, как чаевыми. Много их было, соотечественников моих, на немецких и австрийских "водах" - как в только что кончившемся веке; на Ривьере, в Париже, в Швейцарии; все больше с каждым годом в Италии, где тогдашний "мертвый сезон" (август-сентябрь) стал именоваться "стаджоне русса". Вскоре потянутся туда и люди весьма скромных средств. Билет откуда-нибудь из-под Симбирска, пусть и третьего класса, стоил немало, но жизнь, после размена рублей на лиры, становилась очень дешева. Двенадцать лет спустя, выглянув в Болонье из окна вагона, я увидел на платформе сельского батюшку в сереньком летнем подряснике, с чайником в руке, ищущего "кипяточку" на вокзале...

Не нашел он кипятку. К поезду побежал. Третий звонок, свисток. Побегу и я, над годами полечу назад к поезду, что́ сейчас отбудет с Варшавского вокзала. Только рассказать мне о нем, и обо всей первой поездке моей в чужие края - нечего. Помню лишь сумочку с ремешком через плечо, подаренную мне

тогда, оттого что она долго еще у меня хранилась; да рассказ матери о том, как на вокзале Фридрихштрассе в Берлине, покуда ходила она справляться насчет чего-то, оставив меня за столиком, выпил я целую кружку пива и очень, очень повеселел. Но вовсе, по ее словам, и незачем мне было хмелеть: я и так от радости себя не помнил.

Верю, верю... Путешественником и впрямь родился. Не каким-нибудь Пржевальским (чей памятник с верблюдом, в Александровском саду, был мне с детских лет знаком и мил), а так, домашним, поездным, - к совсем чужому (неевропейскому), даже и довольно равнодушным. Не было это у меня и каким-нибудь "беспокойством", порожденным "охотой к перемене мест" (тут уж я, конечно, не о пятилетнем себе говорю); ни с каким нервным нетерпеньем я отъездов не искал; домой возвращаться тоже была мне радость. Скорей, мне кажется, в корне этого лежала смесь любопытства к чему-то далекому, что могло стать близким и любимым, с одним из простейших видов жизнерадостности: "я свободен, никто не держит меня насильно в гнезде; могу лететь, лечу куда хочу". И подумать только, что проживи я жизнь в родной стране, держали бы меня там на привязи, и слышал бы я издали полвека свистки уходящих на Запад поездов. Ну, а поближе, как сказано Пушкиным в стихах, которых никогда не мог я читать без содроганья, - "не шум глухой дубров" -

а крик товарищей моих
да брань смотрителей ночных,
да визг, да звон оков.

Та сумочка, однако, с ремешком через плечо, на суму, упоминаемую там же - "нет лучше посох и сума" - отнюдь не была похожа. Легонькая была. И не только в младенческих моих мечтах, но и в юношеских, тех, например, что могли баловать меня покуда флорентийский поезд в Болонье стоял и была Венеция впереди, никакой горечи предчувствий не заключалось. А тот первый раз, он ведь только как первый и в счет может войти. Улетучилось все тогдашнее из памяти моей, и последовало за этим отъездом, пребыванием вдали, приездом домой, за несложным путешествием этим, еще много других; все детство, все школьные годы оставалось прожить до того главного, куда невольно перепорхнула моя

мысль, и с которым, по силе пережитого, подаренного им, ничто сравниться не может во всей моей долгой жизни.

В тот первый раз побывал я, кажется, с матерью, только близ Франкфурта, в Гомбурге vor der Höhe, где она воды пила, куда я и позже ее сопровождал; но в следующем году, зимних три месяца, или больше, провел я с ней в Ницце, и снова столько же через год. Увы, и об этом моем на Ривьере барском житье лишь самые смутные и отрывочные сохранились у меня воспоминанья. Сорок лет, без малого, спустя узнал я наш Hôtel Suisse , прислоненный к скале, с апельсинным садиком на крыше, и пальмы Promenade des Anglais, которые в отличие от него, никогда и не исчезали из моей памяти.

Однажды (это было в первую зиму, нужно думать) сидел шестилетний я с мамой на террасе Jetée, павильона "откинутого" в море и соединенного с берегом узеньким мостиком. Сидел и с увлечением пил шипучий лимонад, напиток ненавистный мне с давних пор, но некогда любимый. Глоточками я его безмятежно смаковал, как вдруг мама увидела проходящую мимо по набережной мою "фрейлейн", вскочила, побежала к мостику: ей понадобилось что-то этой скучной особе сообщить. Побежала, исчезла. Я отнесся к этому спокойно, - покуда не был выпит лимонад. Но матери все не было, и глотнув последний глоток, я самым неприличным образом заголосил и разревелся. Люди у соседних столиков повскакали со своих мест, женщина всплеснув руками, какие-то рассудительные старички решили, что я - брошеный ребенок. Позвали полицейского, поволокли меня по мостику целой взбудораженной толпой, и уже на набережной встретили беспечную, но спешившую теперь ко мне, маму.

Помню я и другой, учиненный мною на следующий год скандал - в Нерви под Генуей, куда мы ненадолго съездили из Ниццы. Лучше было бы вспомнить пасхальную заутреню и розговенье, в гавани Вильфранша, на русском броненосце; но бала я не видел, спать меня уложили в чьей-то каюте, как только пролепетал я в ответ хору "Воистину Воскресе"; ничего другого мне память не сохранила. Одни безобразия мои, как назло, соизволила сберечь. Страшный сон мне в Нерви приснился. Тигр меня терзал и грыз, растерзал и

съел. Я проснулся в полутемной комнате весь дрожа и трепеща. Вскочил. На соседней постели - никого. Бросился к двери: как был, босой, в рубашонке; выскочил в коридор, рыдая побежал, почти скатился вниз по широкому ковру лестницы, услышал голоса, пересек со всех ног большую пустую комнату, вбежал в ярко освещенную и полную людей другую, ни на кого не взглянул и, еще громче зарыдав, бросился в объятия матери.

Сахарной водицей отпаивали меня сердобольные беседовавшие с ней дамы. Она унесла меня наверх, осталась со мной. Долго я успокоиться не мог. А с некоторых пор, думается мне, что тигр этот был наш век, уже начавшийся тогда, но лишь позже показавший нам всем свое редкостное свирепство. Однако свирепство это, в те времена, почти никто даже и на четвертушку не предвидел, и уж всех менее малолетний двухзимний обитатель еще невонючих лазурных берегов. Закончу поэтому главку другим эпизодом, тоже в своем роде знаменательным, - не для века, а так вообще для человечьего и для моего будущего мужского бытия.

На вторую зиму поселилась в нашей гостинице миловидная молоденькая испанка, маленькая, стройная, сложнейшей прической едва справлявшаяся с невероятным обилием волос. Она бегло говорила по-французски; мать моя возымела к ней приязнь, и однажды, в нашей комнате, попросила ее распустить волосы. Она согласилась, рассыпала на комоде несметное число шпилек и гребенок, и вдруг густая черная волна покрыла ее до пят. Я чуть не вскрикнул; обмер - иначе не скажешь, хотя ничего мертвящего в этом не было, а напротив, предвестие, в живом, самого живого.

Так впервые познал я, семи лет от роду, das ewig Weibliche - , но быть может не совсем то, которое zieht uns hinan.

Единственный и его собственность

Детство мое живет в моей памяти как целое, но почти никаких отдельных фактов, "эпизодов", относящихся к первым моим девяти годам, мне она не сохранила. Да и дальнейшие годы, школьные, лет до пятнадцати, сливаются для меня, хоть и не совсем до такой степени, в одно. Я помню, главным образом, людей, и себя самого в центре образуемого ими маленького мира. В центре, не с их точки зрения, а с моей; "центр" тут и есть эта моя точка зрения. Из той же точки - неподвижной? - да, если хотите, неподвижной - смотрел я и вообще на все кругом. Кругом чего? Кругом себя. Как же иначе? Так ведь и каждый... Но в моем случае есть тут все же маленькая странность. Когда погляжу назад, вижу я себя в центре мира и мир этот чувствую своим, не из петербургской нашей квартиры, не с Большой Морской на него глядя, а почему-то всегда на дачу мысленно вернувшись, как будто я сам и все люди памятные мне так-таки безвыездно, летом и зимой, в финляндском этом Райволе и пребывали. Правда, я их тут чаще видел; иные гащивали у нас в доме, прочие жили по соседству. Все это были взрослые; братьев и сестер у меня не было; я рос один. Со сверстниками моими, до школы, сколько-нибудь прочно не сближался. Но в памяти я себя вижу именно здесь; именно отсюда рассматриваю "все кругом". Навыворот взяв бинокль, в большие стекла гляжу и вижу крошечного себя, по дорожке идущего меж сосен и оглядывающего свои владения.

Давным-давно (хоть и немножко менее давно), учась в университете и готовясь стать историком, занялся я ненадолго историей политических учений, и однажды заглянул в ту знаменитую некогда, но неприглядно состарившуюся книгу, которую Маркс так тяжеловесно высмеял в своей "Немецкой идеологии". Автор ее, преподаватель женской гимназии в Берлине, Каспар Шмидт, назвался (дабы не лишиться места) на ее титульном листе Максом Штирнером. Он считал себя анархистом и ниспровергателем основ; Маркс объявил его теорию мелкобуржуазной. Но не в этом дело. Книга меня не заинтересовала; я ее просмотрел, читать не стал. Размечтался слегка лишь над ее заглавием. "Единственный и его собственность". К себе слова эти

отнес; к детству и отрочеству своему. Сам я это: единственный отца моего сынок. Выспался, выпил кофе, и пошел "вокруг парка пройтись", как говорилось у нас, - вдоль речки, потом вдоль ограды, по дорожке, окаймлявшей всю мнимую, без поместья обошедшуюся, усадьбу. (Ведь и хаживал я так чуть ли не каждый день). Иду, четыре десятины свои обозреваю: единственный - свою собственность. Как царь Алкиной в Одиссее. Стольких же, ровно, десятин был сад при его дворце.

Только нет. Все это видимость одна. Изнутри было не так. Ведь и у Штирнера "единственный", это всякий человек; и весь мир, а не одно то, что купил он, или в наследство получил, его "собственность". С больших букв придумав писать (дешевая выдумка!) местоимения "я" и "мой", он все же делает это независимо от того, говорит ли о "Моем" миллионе, гроше, - или уме, знании, чувстве. Он, правда, запутывается при переходе от духовных благ к другим, - отсюда "мелкобуржуазность" и получилась. Но ведь по этому шаблону рассуждая, пожалуй, и "сверхчеловек" Ницше чем-то "крупнобуржуазным" окажется. Зародыш этой мысли у Штирнера есть, но он ее не додумал, как и не ему удалось перекувырнуть Гегеля или вывернуть его наизнанку (но ведь и неизвестно заслуживает ли такая удача или такое до-конца-доведенье похвалы). Единствен - каждый; только в единственности своей он и человек. Общественных животных много. Человек тем и отличается от них, что, не перестав быть человеком, не может раствориться в обществе. Раствориться, то есть единственность свою утратить; не простую единичность, а единственность. Что же до собственности, в обычном, "вещном" смысле слова, то она тут не при чем. Однако, немалые преимущества из обладания ею - особенно недвижимой - обладатель все же извлекает; но пожалуй лишь тогда, когда он ее получил, а не приобрел. Собственность, не приобретенная, судьбой подаренная, тем хороша, что позволяет о собственности не думать. В детстве, в юности, я решительно никогда о ней не думал, да и позже в грош ее не ставил. И когда прахом пошло отцовское добро, испытал я, конечно, неудобства, но нисколько это меня не ранило. Если б, однако, в детстве, не был я дачным царем Алкиноем, многое, вероятно, сложилось бы по-другому внутри меня.

Так что я о собственности не думал (тем более, что моей она ведь по-настоящему и не была). А вот о единственности взял, да и подумал - однажды, лет семи или восьми, хотя, конечно, и не с помощью этого, вовсе и неизвестного мне тогда (в отвлеченном значении своем) слова. Было это, опять-таки, все там же "на даче". Даже совершенно точно я помню, где именно находился, когда мысль эта мне пришла. У кухонного крыльца, между ледником и домом. Тут поблизости тополевая аллея начиналась, спускавшаяся к реке; в противоположном направлении калитка входная была видна; поближе направо был тот домик, "особняк"; садовник траву подстригал на овальной лужайке между домом и оградой. Что же это была за мысль? Очень простая и очень странная мысль, которая многих "озаряет" на той же, примерно, ступени их внутреннего роста. Состоит она в осознании своего "я". Кто это говорит "я"? Я говорю. Все, что ощущаю, думаю, знаю, все это думаю я , ощущаю и знаю я. Так было и есть, так будет, пока не умру; я умру, и все, что случится со мной до смерти, я испытаю. Раз эта мысль пришла, она уже далёко не уйдет; возвращаться будет много раз; и каждый раз в каком-то особом недоумении оставлять того, кто ее мыслит. Чего в ней больше - страха, или ни на что другое непохожего строгого удовлетворения? Не знаю. Но если бы она меня глубоко не взволновала, не запомнилась бы мне эта минута, во второй половине летнего дня, близ поросшего травою ледника, у широких выступов деревянного крыльца, где разносчики иной раз раскладывали свои товары, и возле которого, с ребятишками дворника, играл я изредка в лапту.

Фихте справлял не день рождения своего сына, но день, когда тот впервые сказал "я".На поверхности, это неразумно: "я хочу киселя" или "я маму люблю" ни о каком самосознании не говорит. Но по замыслу это глубже, чем даже вся философия, которую Фихте сюда вложил; не говоря уже о "единственном" с его собственностью, о "сверхчеловеке", или о пожаловании заглавной буквы местоимениям первого лица. Осознание своего "я" есть и признание чужого, основа сочувствия ему, возможности порицания его, ни и - чтó куда

важней - невозможности его отрицания. Тот миг, между ледником и кухней, для меня бесследным не прошел. Не то чтоб я хоть на грош уяснил тогда то, чего на четвертак и теперь уяснить себе не в силах. Но, быть может, и впрямь та мысль воспитание мое начала. Рано проснулись во мне две силы: отказ от растворения себя в чужом, общем, в чем бы то ни было вообще; и любопытство, да и приязнь, ко всему личному в других личностях.

О двух таких личностях и поведу ближайший мой рассказ.

Доктор Левицкий

Из людей, памятных мне с детства, не считая родителей, всего дороже мне были - и остались - француженка, которая меня воспитала, и врач, который меня лечил. Француженка была ни на каких других гувернанток не похожа, - исключением была из правила. Характерным для тогдашней России было только правило, то есть наличие большого числа иноземных наставников и наставниц. Русские же врачи обладали и в большинстве своем чертами, свойственными в высокой степени тому, о ком будет речь, - хорошими, прекрасными чертами, не утраченными ими, я в том уверен, и по сей день. Но этот наш доктор, как и гувернантка, был все-таки очень "сам по себе", был - готовым выражением пользуясь - "чудак, каких мало"; зато и человеком был, каких мало. Тень его молю помочь мне рассказать о нем так, чтобы не вовсе это было недостойно милой его памяти.

О близких нам взрослых, исчезнувших из нашей жизни к тому времени, как сами мы стали взрослыми, что мы знаем? Мы не знаем, в сущности, ничего. Ничего никогда и не знали; знали их, а не о них. Мы их чувствовали, чувством этим знали, какие они (сплошь и рядом куда лучше, чем способны это знать взрослые о взрослых) и еще, может быть, слушали кое-что рассказанное о них, - как я, от родителей моих слышал рассказ о докторе Левицком; рассказ о чем-то, что было, когда меня еще не было.

Доктор Левицкий был морским врачом, но не плавал без передышки на военных кораблях (как я был готов в свое время вообразить), а снимал квартиру в нашем доме, на четвертом этаже, и там принимал пациентов, к которым, однако, мой отец и сестра его, на втором этаже жившая, не принадлежали. Дочь тети Мили, Женичка, очень любимая моим отцом, тринадцати лет от роду заболела не корью и не ветряной оспой, а водянкой, - случай редкий, и поставивший врачей в тупик. Девочке становилось все хуже. Был созван консилиум. Выдающийся хирург предложил операцию, но и выразил сомнение в ее успехе. Положение больной признано было безнадежным. Через час после ухода врачей, позвонили у двери. Это был доктор с верхнего

этажа. Он попросил позволения осмотреть больную, не предрешая вопроса о том, будет ли он ее лечить или нет; заключения консилиума были ему известны. Осмотрев девочку, он никаких особых надежд матери ее не подал, но сказал, что попытается вылечить ее без операции, если ему разрешат переселиться на время в нижнюю квартиру и не отходить даже и по ночам от ее постели, предупредив, что ни при каком исходе леченья, он за него гонорара не возьмет. Тетка моя посоветовалась с моим отцом, и предложение доктора Левицкого было принято. Он бросил свою практику, переселился вниз, вылечил Женичку, применив к ней ветеринарное средство, которым лечат водянку у лошадей, - после чего заявил, что выздоравливающей необходим длительный отдых на французской Ривьере, куда и отправился сам с ее матерью и с нею, ежедневно их навещал в течение месяца, и наотрез отказался не только от гонорара, но и от всякого возмещения расходов по пребыванию там и путешествию.

Богачом он не был; жил практикой или жалованьем; был не богатым, а чудаком - "каких мало"; но мой отец, хоть и не интересовался чудаками, хоть и не очень мягкого был нрава, с тех пор как была исцелена Женичка, готов был ее исцелителю любое чудачество простить, да и просто любил его, как и все у нас в доме, как и все, кого мы знали.

В памяти моей, Александру Павловичу лет пятьдесят. Седина его красит, короткая раздвоенная бородка очень ему к лицу; белый китель, летом, со значком Академии, сидит на нем превосходно. Манерами и осанкой похож он немного на полковника Вершинина в "Трех сестрах", когда эту роль играет Станиславский. Только улыбка его едва ли не еще светлее и добрей. Быть может, однако, не так уж безоблачно у него на душе, как ему хочется, чтобы другим казалось. Курит он непрерывно, одной папироской зажигая другую, почти не пользуясь спичками. Курит и ночью; страдает издавна бессонницей. Когда приезжает к нам на дачу, всегда ту же комнату ему отводят, рядом с моей, и я слышу, как он ночью кряхтит и чиркает спичкой. А то и дверь скрипнет; это значит, что он отправился на чердак, где будет долго шагать взад и вперед, во всю его немалую длину, с папиросой в зубах, - что беспо-

коило моего отца, который, услышав над собой его шаги, поднимался иногда с постели и шел к нему, чтобы уговорить его спуститься вниз; дача была деревянная, на чердаке лежали доски, от искры могли загореться щепки, опилки... Александр Павлович покорялся; вероятно не без раздражения.

Он был обидчив, упрям, резок в суждениях, вспыльчив. Однажды явился неожиданно туда же, на дачу, в одиннадцать часов вечера. Мать была в своей комнате, я уже спал, отец один был внизу, собираясь, в свою очередь, подняться к себе наверх. Доктор был в прекрасном настроении. "Давайте, Василий Леонтьич, разопьем бутылку мадеры." Отец сходил в погреб, принес бутылку, откупорил ее, поставил на стол, взял рюмку из буфета, - но лишь одну: компанию составить отказался. "Ваша комната, вы знаете, всегда для вас готова". И пошел наверх. Через полчаса вернулся поглядеть, что делается в столовой. Несколько рюмок мадеры было выпито, но Александра Павловича и след простыл. Утром, однако, он снова был у нас, совсем добрый, веселый, в замазанном углем кителе. Просил прощенья; называл свою обиду вздорной. Так обиделся накануне, что решил немедленно вернуться в Петербург. "Больше к ним ни ногой". Отмахал четыре версты пешком до станции. Поезда не было. Переночевал в стоявшем на запасном пути товарном вагоне. Там и замазался. "Голубушка, Ольга Александровна, дайте мне горячего кофейку".

В другой раз... Грустно об этом вспоминать. Студентом я уже был. Опоздал в Петербурге к завтраку. Александр Павлович был у нас; я застал его в ожесточенном споре с отцом. Чашка кофе была опрокинута, салфетка брошена на стол. "Жиды", услышал я крик, "жиды погубят Россию!" Он чуть не опрокинул и меня, бросившись в прихожую. Собирался, должно быть, дверью хлопнуть, уходя. Очевидно, мой отец, как и прежде не раз, евреев защищал. Не помню, чем это кончилось; кажется, он успокоился; вернулся к столу. - Позже я думал: всякого другого я счел бы последним пошляком за один этот возглас, одно это гадкое словцо; вычеркнул бы его из числа людей, что-либо значущих для меня, даже не поинтересовавшись узнать, какие в этом слове высказались "взгляды". В спорах такого рода я участия не принимал; уверен был, впрочем, что и ев-

рея он лечил бы; если бедного, то и даром. Но как мог такой человек...

Не знаю и сейчас, как мог; но судить его и сейчас не в силах. Вижу его улыбку, все его милое лицо, когда он, бывало, выслушивал меня маленького. Он, Бог знает почему, горячо меня любил. Сентиментален не был; не сюсюкал надо мной никогда; но любовь его, когда он был с нами, я всегда чувствовал - просто так, без умозаключений, как чувствуешь горяч ли чай, который ты пьешь. Когда я, девяти лет, очень тяжело заболел, он потребовал, чтобы позвали знаменитого врача, и сказал ему "Я больше не врач, я сиделка; прикажите, что́ мне делать". И когда я четверо суток лежал без сознания, это он, днем и ночью, мешок со льдом менял у меня на животе. "Взгляды" осуждаю, и речи; но его осудить не могу; и руку - даже и скомкавшую салфетку, бросившую ее тогда на стол, теперь, через шестьдесят лет, целую с ответной любовью.

Зеличка

Mademoiselle Louise Coutier начала приходить к нам в Петербурге, вскоре после того, как мне исполнилось семь лет. Жила у нас на даче с весны до осени, и к концу того года я бегло говорил по-французски. Ей было тогда лет сорок пять. Уже добрых четверть века обучала она русских детей своему языку; от них и прозвище получила: Мадемуазель - Зель - Зеля - Зеличка. Сестра ее занималась тем же ремеслом. Отец их был разорившийся перчаточник. Обе оне хорошо говорили по-русски, родились в России, во Франции никогда не были. Но сестра Зелички была мадмазель как мадмазель, чего о Зеличке не скажешь. Недаром дети, любившие ее, имечко ей такое сочинили. Никогда не слыхал, чтобы другую какую мамзель звали этим именем. Зеличка моя, судя по фотографиям, была в юности очень хороша собой, и еще теперь ее строгое лицо с узкими губами, четко очерченым носом, черные, с легкой проседью, гладко причесанные волосы и темнокарие, способные загораться и сверкать глаза позволяли догадываться об этом. Одевалась она всегда очень скромно и просто. Часики носила брошкой прикрепленные к платью возле левого плеча. Пенснэ надевала, когда читала. Была легка на подъем, неутомима в прогулках, очень умеренна в еде и питье; не жаловалась никогда ни на какие недуги. За столом сидела молчаливо; гостями нашими не интересовалась; избегала длинных разговоров и с моею матерью, не сразу, но постепенно очень полюбившей ее. Когда она жила у нас на даче, единственным ее собеседником был я. С первого же дня, когда появилась она у нас и во все те годы покуда она меня учила (позже жила и бывала она у нас в качестве уже попросту гостьи), я от нее ни одного русского слова не услыхал. Таково было твердое правило ее преподавания, которому она и была, в первую очередь, обязана его успехом. У нее было много твердых правил, но педантизма в ней не чувствовалось никакого. И кроме дара преподавания, был у нее другой дар, более редкий и драгоценный: без всякого командованья, без всякой дрессировки, одним своим "образом действий" и существом своей личности она умела воспитывать детей.

Часами гуляли мы с ней по дорожкам нашего парка или в лесу напротив. На скамейках сиживали, она с рукодельем, я с книжкой на коленях. Рассказы ее не уставал я слушать - всегда о детях, о ее прежних учениках и ученицах, о жизни с ними в Одессе, Киеве, под Каменец-Подольском, - где жила она долго, научилась говорить по-польски (знала и немецкий), и никогда я с нею не скучал. Никаких особых знаний, никакого сколько-нибудь широкого образования у нее не было; убедился я, впоследствии, что она не безупречно писала даже и по-французски; но человеком она была необычайной прямоты и чистоты; детской невинности, но силы характера и самым балованным ее питомцам внушавшей немедленное уважение. Легко было обмануть ее в чем-нибудь нейтральном, этически безразличном; но любое притворство тотчас бывало разоблачено. Она была безупречно справедлива, и каждый день, а не в особых только случаях. Спокойствие и ясность ее духа были непоколебимы. Никаких выдумок, причуд, капризов. Детские капризы и причуды она прекрасно понимала, шалости легко прощала; но лицемерить, передергивать при ней, вообще "делать вид" было нельзя. Тут она становилась беспощадной. Го́лоса не повышала, к наказаниям не прибегала: вспыхивала вся, черные глаза ее сверкали. Больно становилось виновному; не шутка была Зеличку рассердить. Все ее воспитательское старание направлено было на одно: всяческое вытравливанье лжи. Беспощадной она тут становилась не только к детям, но и к родителям.

Много лет спустя, узнал я (не от нее), что незадолго до знакомства с нами ушла она из одного дома, где воспитывала двух уже не маленьких мальчиков, приняв решение внезапно когда накипел в ней гнев. С вечера уложила свои вещи, а утром пошла к матери этих юнцов и объяснилась с ней примерно так: "Сударыня, я больше оставаться у вас не могу. Вы учите ваших детей лгать. Не возражайте, я вас предупреждала. Не прямо учите, а косвенно. Они лгут, вы это знаете и делаете вид, что вы им верите, чтобы избежать лишних хлопот. Ваш старший сын будет преступником, младший - негодяем. Жалованье вперед за месяц я не возьму. Прощайте".

Когда я рассказ этот слышал, я уже знал, что предсказанья Зелички исполнились. У нас, слава Богу, такого рода

конфликтов не возникало. Родители мои столь необычайной гувернантке доверяли, и больше, чем они, воспитала меня она. Мать, при всей любви, чуть-чуть ее, кажется, боялась; отец был скуп на похвалы, но однажды сказал, что честней и бескорыстней человека в жизни своей не видывал. Разузналось о ней позже, что она все свои скромные сбережения разом и без возврата отдала обанкротившемуся отцу бывших своих воспитанников. Какова была ее личная жизнь в молодости, почему девушка столь несомненной красоты не вышла замуж, этого никто не знал, - говорили, что из-за любви к человеку, женой которого она стать не могла. У нее никого не было, и ничего, кроме чужих детей, которых в детской, но закаленной своей душе, считала она своими. Когда я ссорился с моей матерью из-за некоторых неровностей ее нрава - сегодня мне почему-то запрещается то, что вчера разрешалось - Зеличка неизменно меня увещала - "не кипятитесь (она всегда, с самого начала, говорила мне "вы"), это взрослые, вы же знаете, а ваша мама вам зла не желает". Я смеялся, гнев проходил, я готов был и маму простить и Зеличку обнять; но Зеличка, в отличие от мамы, обнимать и целовать себя не давала. Темные и добрые глаза ее только глядели немножко веселей. Но не шутила она: "взрослой"и впрямь не была. Этим она меня и воспитала. Кратчайшим образом пояснить это можно, сказав, что она от пошлости меня избавила, собою мне явив человека, в котором ни малейшей песчинки ничего пошлого не было.

Чем она дух свой питала? Не знаю. Католичеством? Нет. Уверен, что сердцу ее куда ближе был Руссо. Но на высокие темы не говорила никогда. Ничего как будто и не читала, кроме банальных французских романов, банальность которых бесследно соскальзывала с нее. Людей оценивала безошибочно, а школьными истинами, до смешного порой, пренебрегала. Уверяла меня, - взрослого уже - что сидя у нашей речки на скамейке, видела вращение земли.

- На что же вы смотрели при этом, Зеличка?

- На противоположный берег.

- Но ведь он тоже вращался?

- Ну да, вот я и видела, как вращаюсь вместе с ним.

- Зеличка, это невозможно.

- Вот погодите, когда вернусь в Петербург, навещу моего бывшего ученика в Пулковской обсерватории. Он - астроном. Он мне скажет, возможно это или нет.

Через несколько месяцев, в Петербурге: "Ну что ж он сказал?" - "Он сказал, что вообще это невозможно, но что в особых случаях, некоторые люди..." Ах она, душенька моя! Скажут мне, пожалуй "в самом деле, хороша. Невежда. Иноземная, а верней без роду и племени дикарка. И вы еще гордитесь ею. Воспитала! По-французски научила вас болтать. Эка невидаль". Спорить не стану. Да, воспитала. Лучшим во мне я обязан ей. То мне дала, чего ни от кого другого я бы не получил. А насчет рода и племени, передам еще один разговор, который у меня с ней был за год до ее смерти, во французском городке неподалеку от Лиона, где жила она с сестрой на пенсию, получаемую от вызволившего их из взбаламученной нашей страны французского правительства.

- Что ж, Зеличка, как вам тут живется?

- Хорошо, очень хорошо. Мы тут с сестрой стережем виллу, хозяева которой почти всегда отсутствуют. Жизнь тут недорогая, пенсии хватает... Но я предпочла бы жить в Париже.

- Зеличка, отчего же? Ведь и шумно там, и суетливо, и дорого.

- Верно, верно. А все-таки ближе к России.

Дети, в школу собирайтесь

Не нахожу в своем детстве - как и отрочестве, юности - ничего особенного. Сверстников моих, во всяком случае, рассказом о нем не удивлю. Тем более, родившихся в том же "моем" дважды переименованном с тех пор городе (очень несуразно оба раза: Ленин Петербурга не основывал, но и Петр "Петрограда" не основал). Мне ведь всего десять лет исполнилось в девятьсот пятом году; я успел в университет поступить до четырнадцатого, окончить его и даже жениться до семнадцатого года. Из людей постарше или на много старше меня, те, кто чувством или зрением более острым были наделены, могли кое-что из ожидавшею всех нас и нашу страну предчувствовать или предвидеть, я же, не только в детстве и отрочестве, но и в двенадцатом году (когда поступил в университет) не почувствовал ровно ничего. Зато уж у родившихся тогда или позже не могло быть ни детских, ни дальнейших лет, таких как у меня. Вот почему им о своих пожалуй и стоило бы мне рассказать, тем более, что детям крестьян или рабочих тоже ведь на "взвихренной Руси" (по-ремизовски выражаясь) жилось не так, как на до-взвихренной. Вихри эти ведь и вообще всю русскую жизнь разворотили, а отличие тихого и мирного (пусть и относительно) жития от противоположного ему все-таки сильней других, каких бы то ни было различий.

Незачем мне, однако, скрывать - да и не скроешь этого - что к ранним своим годам возвращаюсь я не только для тех, кто услышит от меня о них. Возвращаюсь, и о себе помышляя: хочется мне понять, каким образом сложился, из чего вырос я сам, такой, каким я себя знаю. Очевидных предпосылок этому не вижу: полагаю, что не очень я похож на тех, среди кого я рос. Откуда же отличие мое, и от взрослых, в начале жизни меня окружавших, и от школьных товарищей моих (дошкольных у меня не было)? Никакого готового ответа на такой вопрос у меня нет. Да и вообще никакого. Есть только (а я ведь часто об этом думал!) целый рой неполных и сбивчивых ответиков, ни в какое разумное целое несвязуемых и относящихся - что и не удивительно - к самым разным временам. Не удивительно это потому, что развивался я медленно. Не то, чтобы отсталым был ребенком, но медленно становился собой.

Свое "я" осознал рано, или, по крайней мере, в нормальный срок, но наполнял эту малолетнюю личность именно ей подходящим содержанием очень постепенно. Поэтому, лишь в рассказе о себе я могу это постепенное становление свое сколько-нибудь отчетливо восстановить, и ответики приладить один к другому так, чтобы получилось нечто равносильное ответу или хоть приближающееся к нему. Кое-что, к этому ведущее, я уже сказал. Настаивать не буду. Пусть из самого рассказа это очеловечивание дитяти станет понятным, - и мне, и, может быть, другим.

Детство мое начинаю я помнить немного лучше к тому времени, когда стал приближаться его конец. "Дети, в школу собирайтесь", как в детской песенке поется; но "петушок" как будто и "пропел", а я еще в школу не удосужился поступить. Здоровье мое, в ранние мои годы, считалось, по неясным для меня причинам, слабоватым, - оттого, говорили взрослые, и в Ниццу меня возили две зимы подряд. Но после второго возвращения оттуда, какой-то разумный детский врач - чуть ли не сам Раухфус - сказал, что зима в Финляндии будет гораздо мне полезнее, чем еще одна южная зима, и родители мои решили, что ближайшую зиму проведу я с Зеличкой, а бóльшую ее часть и с матерью, у нас на даче, после чего, минуя приготовительный, поступлю прямо в первый класс. Мне было восемь лет. Девятый мой день рожденья будет отпразднован в весенних снегах; в мае я сдам вступительный экзамен, требуемый с тех, кто приготовительного класса не прошел, и осенью буду принят в одну из четырех немецких школ Петербурга, - где все преподавание велось на немецком языке, но где половина учащихся вовсе не были немцами - в училище при реформатских церквах, или, как для краткости говорилось, в Реформатское училище.

Вся эта зима слилась у меня в памяти со многими зимами или зимними неделями,проведенными там же в последующие годы. Кажется она мне сплошным сиянием снежных солнечных дней. На юге мне было хорошо, тут, однако, еще радостней. Покуда светло, я на лыжах, или с горки на саночках катаюсь, или запряжет дворник, он же и кучер, рыжую лошадку, и на розвальнях мы едем по дороге в Кивиненп, конечно, с Зеличкой вместе, очень охотно меня сопровождавшей. Порой и вы-

валивались мы из опрокинутых широких саней в мягкую от снега канаву, особенно, когда правил не финский наш возница, а кто-нибудь другой, мама, например. Ничего; поднимались, встряхиваясь и смеясь, или вылезали, подняв лошадь и сани, из сугроба. А для долгих вечеров придумала мне Зеличка занятие. У Пето, на Караванной, куплено было, что нужно, и два месяца мы с ней вырезали и клеили украшения на елку, которая была целиком, кроме свечей и хлопушек, нашими украшена стараньями. В сочельник, была она зажжена, на радость многочисленных детишек дворника и садовника, получавших, вместе с родителями, угощенье и подарки, и певших тонкими голосками умилительные песенки на своем языке, среди которых не отсутствовала и знаменитая, с немецкого переведенная, о зелени ветвей святого рождественского древа. Когда же кончились Святки, занялся я под Зеличкиным руководством, эмалевыми красками, коими раскрашивал нарочно для этого продаваемые у того же Пето блюдечки, чашки, вазочки. Не любила она, чтобы ее питомцы сидели, сложа руки.

Доволен я был всем этим, снегом всего больше и солнцем, чрезвычайно. Поздоровел, как никакой Ницце и не снилось. Вряд ли без этой зимы, как думали потом, одолел бы тяжелую болезнь, которую предстояло мне перенести следующей зимою. Но кто же готовил меня к экзаменам? Не помню. К французскому Зеличка, конечно; но ведь надо было сдать и другие: русская грамота, немецкий, арифметика. В конце мая я три первых сдал, а на последнем провалился. К моему стыду, но не по моей вине. С программой плохо ознакомились: кроме четырех правил, требовалось еще уменье "открывать скобки". По сей день звучит для меня угрозой длинное немецкое слово "кламмеррехнунг". Премудрость этой "рехнунг", по правде сказать, не велика. Объяснили мне ее очень быстро; но я все лето, нет-нет, да и задумывался над ней, и на переэкзаменовку, мне назначенную, пошел, в первых числах сентября, с большим трепетом, чем за три месяца до того шел на экзамен.

Училище помещалось в большом, для него построенном доме, на Мойке, очень близко от моего жилья. Мать меня проводила. Робко втолкнул я входную дверь, отнюдь в нее

не вбежал, как вбегал потом семь лет подряд. Поднялся на первый этаж, вошел в большую классную комнату, где мальчиков за партами было немного, а на кафедре сидел широкоплечий, внушительного вида учитель, средних лет, темноволосый, усатый, в синем сюртуке с медными пуговицами, ведомства императрицы Марии, - не тот, что́ экзаменовал меня весной. Он дал мне листок с задачей. Я сел за парту, и к великому моему разочарованию, огорчению даже, увидел, что вовсе это не изученная мною вдоль и поперек кламмеррехнунг,а простое деление. - Только и всего, подумал я с презрительным негодованием. Но вскоре чувство это перешло в ужас. При делении, получался остаток, а я был глубоко и глупо убежден, что деления, предлагаемые на экзаменах, должны делиться без остатка. Перечеркнул, снова разделил; еще раз; второй листок бумаги попросил. Устранить остаток было невозможно. Другие ученики уже отдали свои листки. Я подошел в слезах к кафедре и, хныча, промолвил: "Господин учитель, остаток у меня получается, как я ни бился". Герр Штернберг (будущий наш инспектор), взяв у меня листок, улыбнулся - совсем, как мне показалось, не дружелюбно - и буркнул: "Так оно и должно быть, баранья голова!" "Na, Schafskopf, so muss es auch sein!"

Настежь распахнулись передо мной, после этих слов, врата Реформатского училища.

Тиф

На Рождество 1904-го года мы остались в Петербурге, с тем, чтобы до возобновления школьных занятий, съездить все же на неделю к себе в Финляндию. Ранец я уже с осени, каждое утро, бодро вскидывал на плечо, и ходил обучаться чему надо, без особого, кажется, энтузиазма, но и безо всякого отвращения. Вечером, в сочельник, была елка у крестной матери моей; 25-го, днем, у нас. На второй день завтракал с нами доктор Левицкий. Он только что ушел. Я сидел в кабинете отца на зеленой длинной подушке, покрывавшей подоконник, вытянул и ноги вдоль нее. Два окна этой комнаты выходили на Морскую, где напротив только еще строился, если не ошибаюсь, очень недурной дом Азовско-Донского банка, в нео-классическом вкусе возводимый архитектором Лидвалем. Левое окно я выбрал против отцовского письменного стола, за которым как раз сидел и он, что-то писал, а я читал второй том переводного детского романа, в светло-кофейном переплете: Герштеккер, "Африканский кожаный чулок".

Отчего же я помню все эти мелочи? Оттого, что не успел я вчитаться, как отец встал из-за стола, сделал шаг - и рухнул замертво на пол. Я бросился к нему, закричал. Прибежала мать, потом кухарка. Мы пытались приподнять его, дать ему выпить воды; он губ не разжимал, глаз не открывал, не подавал никакого признака жизни. Я смотрел ему в лицо; оно казалось мне лицом мертвеца. В это время раздался звонок: доктор Левицкий забыл у нас перчатки. В его медицинской сумке был даже и морфий, был шприц. Мы перенесли отца на диван. Он очнулся вскоре после укола, и на следующий день был здоров. Потерял сознание от боли: у него был сильный припадок того, что в просторечии зовется прострел; но доктор объяснил нам, что обморок был глубок, что мог бы отец и не очнуться, если бы... Господи, - подумал я, - если бы перчатки не были забыты на столе в прихожей.

Через несколько дней мы все трое благополучно отправились на дачу. Там было много снега и солнца, как предыдущею зимой; но мертвое лицо отца, увиденное мной, не покидало

моих мыслей, и так вышло, что призрак этот точно меня и привел к подлинному порогу смерти, на этот раз моей собственной.

Еще там же, в Райволе, я заболел. Финский врач определил дизентерию, прописал очень сильное средство (каломель). Температура понизилась, прекратился понос; меня перевезли в Петербург; я очень ослабел, но как будто поправлялся. Не знаю, был ли я уже на Морской девятого января, в то безумное и кровавое воскресенье, когда несомненно и под нашими окнами валила толпа, чтобы, пройдя под Аркою, выйти на площадь, как и под нашими окнами, позже, часть ее убегала с площади. Девять лет мне было; наверное мне и не сказали ни о чем. Около того времени мне настолько стало лучше, что меня, раза два, дабы я "воздухом подышал", возили на извозчике по улицам. Дрожки это были, сколько я помню, а не сани. Воздух мне казался весенним... Но вскоре возобновился понос. Температура поднялась до сорока. Кровь, почти в чистом виде, захлестала из несчастного мальченка. Мнимая дизентерия оказалась лишь "прелюдией", на тогдашнем языке врачей, к брюшному тифу в самой тяжелой форме, с тремя кишечными язвами, который меня на два месяца уложил в постель, и чуть в гроб не уложил, через неделю после его нового обнаруженья.

Россия готовилась к революции. Мальченок ожидал смерти. Россия, пораздумав немного, отложила свой Октябрь на двенадцать лет. Испытание моих жизненных сил кончилось их победой, но было тяжким. Я не только ожидал смерти; я - отчетливо помню - ее желал. Боли в животе и всем теле были невыносимо мучительны. Что́ такое молиться я знал, хоть и едва ли знал по-настоящему, - разве что в тот недавний день догадываться начал, когда отец мой лежал в кабинете на полу. Но теперь - молиться о жизни? Сил у меня на это не хватало. Молиться о смерти я не решался, думал просто: только бы все кончилось, пусть бы она пришла. Бредить мне, даже при высокой температуре, несвойственно; я и не бредил, понимал, что творилось кругом, ночью не спал, а дремал, терпел нестерпимую боль, хотел умереть. Тут-то и позвали, лечившего царских детей, лейб-медика Коровина, - помню его холеную седину и владимирский крест на груди. Тут-то и стал доктор Левицкий моей

сиделкой, мешок со льдом менявший днем и ночью на моем животе. Температура поднялась еще на один градус. Четверо суток я пролежал в полном забытье и теперь - единственный раз за всю жизнь - в бреду. Мать моя (как мне потом говорили) убивалась несказанно. Отец тайком от нее ходил в Казанский собор - свечку ставить перед Распятием, минуя другие иконы, как полагалось протестанту. Наконец температура спала. Я проснулся среди дня и попросил поесть. Доктор Левицкий до того был взволнован, что не знал, на что решиться. Он позвонил Коровину. Мне дали кусочек легчайшего бисквита и влили в рот немножко теплого молока из чайника. Я горько заплакал, - так мне этого показалось мало.

Брюшной тиф - хорошая болезнь. Если не убьет, обновляет организм, не оставляя ему разных скверностей в наследство, как предательская скарлатина сплошь и рядом это делает. Но поправляются от него медленно. Я вылеживался долгие недели, ночью в комнате матери, днем на том же отцовском диване, где после обморока лежал он сам. Ходить совсем и не мог: на ногах не держался. Исхудал. Кухарка Лена, купавшая меня, проливала слезы надо мной и уверяла горничную, что не жилец на свете этот "шкилетик". Голод я испытывал страшнейший, а есть мне не давали, по моим понятиям, почти ничего. Когда в отсутствии родителей я допрашивал Лену о том, что она им состряпает к обеду, ответ был: тёшку. Первый раз - тёшка, второй раз - тёшка; я понял, что ее научили этой лжи, из жалости ко мне. Жирное осетровое брюхо было единственным блюдом, не способным,даже и в данных обстоятельствах, раздразнить мой аппетит. Зеличка, навещая меня, не преминула рассказать страшную историю о нянюшке, накормившей своего выздоравливавшего от тифа питомца котлеткой, и тем самым отправившей его на тот свет. Не помогло и это. Я уже мог вставать. Пробрался однажды в столовую, открыл дверцу буфета, съел все масляные шарики, находившиеся в масленке, и полбанки земляничного варенья. После чего температура моя поднялась, вызвала переполох. Но вслед за нянюшкиным питомцем я все же не пустился в путь, - должно быть потому, что котлеток в буфете не оказалось.

Когда я в первый раз, не без чужой помощи, оделся и подошел к зеркалу, я себя не узнал. Малолетний чахоточный каторжник глядел на меня синими глазами; они одни остались у

него от меня. Бритая голова, впалые щеки; курточка болтается на скелете. Кухарка Лена, чей отзыв был мне передан, верно была права. Но думать, что я скоро помру, я все-таки не был в состоянии. Выпустила меня смерть из своих когтей надолго. Теперь-то как раз - это я все сильнее чувствовал с каждым днем - жизнь моя по-настоящему и началась. Отпраздновали мой десятый день рожденья. Скоро повезет меня мама поправляться в Швейцарию, на Женевское озеро. Я увижу впервые настоящие, снегом покрытые горы.

Выздоровление, даже и от ничтожных болезней, дарит нам в детстве и ранней юности чувство позже не испытываемое, с трудом представимое, какого-то нежного холодка, обнимающего нас. В любом движении - наслаждение; всё обещает нам радость. Это, вероятно, счастье и есть - простейшее, но и самое несомненное. А ведь я не просто выздоровел: я восстал со смертного одра. Может быть тогда именно я и родился, и мне на десять лет меньше, чем значится в паспорте. В иные минуты готов я так думать и теперь. Вот и сейчас, например, в наплыве этих воспоминаний. Как же мне было ими не поделиться с теми, кому я как-никак, хоть и в отрывках, рассказываю мою жизнь? Пусть простят меня, если найдут это излишним. И пусть, во всяком случае, знают, что мне я сам показался бы чужим и непонятным, без этого опыта смерти, без этого воскресения.

Весна близ гор

Есть в Монтрё Hotel Lorius, или во всяком случае стоял на прежнем месте, близ озера, с выходящим на озеро садом, пять лет назад, когда на пути из Венеции в Париж, решил я остановиться в швейцарском этом городке, давно не виденном мною и мне дорогом по еще гораздо более давним, допотопным, предрассветным воспоминаниям. Нет, не предрассветным. Раннего утра, ранней весны. Возвращаясь теперь на север, еще в Симплонском туннеле, под стук колес, и потом в Бриге, хоть и барабанил дождь в вагонное окно, повторял я, воспоминания те пробудив: "Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон!" и первый стих второй строфы "Весна, весна! Как высоко́...".

Был ненастный октябрьский день. Темнело. Я поел на вокзале и тут же снял комнату. Потом, непромокашку надев, спустился к озеру, минуя городской сад, где осиротелый оркестр играл под мокрым навесом, повернул направо. Дождь прошел, но не унимался порывистый ветер. Черные волны бушевали. Тускло мерцали фонари. Вот и мой старый Лориюс. Сад его, обнесенный стеной, как будто стал меньше, и дорога отделила его от озера. Я обогнул стену, остановился перед застекленной дверью. То, что было за ней, глядело уютно и тепло. Войти? Нет. Я быстро зашагал по асфальту, отражавшему свет фонарей, к вокзальной своей гостинице. Утром опять лил дождь. Я сел в первый же парижский поезд.

Когда весной 1905 года мать привезла меня сюда, было это, должно быть, перед Пасхой. В переполненном Лориюсе отвели нам по началу, биллиардную. Для матери принесли кровать, а мне постелили, подложив тюфяк, на биллиарде. Проснулся я на этом ложе, как нищий в царской постели. Большая комната выходила прямо в сад. Еще до кофе, побежал я туда к озеру. Оно все, во всю ширину, сияло и нежно голубело. На вершинах высоких гор, напротив, ни малейшее облачко не прикрывало сверкания снегов. Я был вне себя от восторга. Обежал сад, остановился под зеленевшей уже плакучей ивой, на берегу, возле маленькой излучины, где мастерили что-то досчатое, пристань, может быть, для лодок. Возле сруба стоял, по колено в воде - но резиновые его сапоги шли выше колен - рабочий,

с виду итальянец, и ровно ничего не делал: глядел, как только что я, на небо, на снежные горы, на чуть колеблемую полуветерком гладь озерных вод. Он улыбнулся мне слегка. Я побежал к матери, стал ее торопить: "Скорей,скорей, пойдем, как тут хорошо! Какие горы кругом!" Мама оделась быстрее, чем обычно. Мы прошлись по главной улице, где продавали стенные часы с деревянными кукушками, сернами и медведями, замысловатые трубки, зеленые с перышком шляпченки, башмаки, подбитые богатырскими гвоздями, длинные альпенштоки и крючковатые трости с железным наконечником, из коих одна мне тотчас была куплена, - не совсем по росту. После чего мы, не откладывая радостей, тотчас отправились наверх, в Глион, по горной тропинке вдоль ручья, ставшей мне вскоре такой весело знакомой.

К завтраку вернулись в гостиницу, а затем чужие две дамы, сидевшие за столиком неподалеку, подошли к моей матери, увели ее в соседнюю гостиную и стали укоризненно спрашивать, отчего она привезла своего чахоточного сына сюда, а не в знаменитую санаторию повыше, Les Avants , где уже было немало известных им случаев излечения от самых тяжелых форм туберкулеза. Едва ли оне даже поверили, что легкие мои были в порядке и, как и другие пекшиеся о здоровье своих чад родители, благосклоннее начали поглядывать в сторону нашего стола, лишь когда округлившиеся мои щеки отнюдь не болезненно порозовели, и когда мы стали все чаще с матерью пропускать завтраки и опаздывать к обедам, такими далекими сделались восхищенные наши прогулки или экскурсии, для коих мы не пренебрегали ни поездом, ни пароходом, ни зубчаткой, ни вагончиком канатным, когда поднимались из Глиона в Ко и оттуда в Роше-де-Нэ, где все окрестные горы видны, всё озеро синеет внизу, и где хочется повторять это легкое местное словцо - нэ, нэ... Снег, горный снег, снега на высокой скале, где нет ничего, кроме них, блаженного воздуха и неба.

Но больше всего любила мама попросту ходить; считала, что ей это и нужно - для похуденья. В юности полной не была, руки у нее были маленькие, очень изящные, а в соответствии им и ступни совсем малого размера, непропорциональные ее нынешнему весу, но ее носившие с прежней легкостью. Шла она

быстро, идти могла долго, и вполголоса на ходу беседовала сама с собой. Я тоже не отставал, порой и вперед забегал и о чем-то фантазировал, эпопеи какие-то для себя самого слагал, но, в отличие от нее, вполне беззвучно.

Шильонский замок мы с ней посетили, побывали в Женеве, кажется, и в Лозанне, а уж Веве, Кларан, Террите, это всё того времени звуки: все дальнейшие долгие годы ничего для меня к их знакомому звучанью не прибавили. Только все-таки те три, что не рядышком начертаны, а одно над другим - Глион, Ко, Роше-де-Нэ, - хоть и нигде я там с тех пор и не побывал, слаще ласкают мой слух, вместе с названием той горы, Dent du Midi, что снежной вершиной своей меня пленила в первое же утро.

Люблю горы с тех самых весенних дней; восходить на них люблю, и спускаться, и огибать, и глядеть на них издалека; люблю живительный горный воздух, люблю горную дикость больше дикости морской; но и союз ее люблю с человеческим жильем, с первобытным человеческим трудом; пастбища горные люблю, и тропинки, и селенья. Альпиниста бы из меня не вышло. Я неохотно гляжу вниз уже и с балконов на высоких этажах. Пропасти не для меня. Претило бы мне и веревкой быть привязанным к другому. Отрадней по лесам и лугам Таунуса, рано утром выйдя из Гомбурга, идти, подниматься не Бог знает на какую крутизну, развалинами римской твердыни любоваться. Как привольно было кругом, но и как уютно вместе с тем! Однако величие настоящих гор я все-таки чувствую очень живо, и впервые я его именно тогда, в апреле, на Женевском озере, почувствовал. Особенно, когда поднялись мы в первый раз на Роше-де-Нэ, и так далеко внизу осталось все покинутое нами. Нэ, нэ, солнечный снег... Постоял я, поглядел, и вдруг вскарабкался, один, повыше еще на скалу. Мальчик, умиравший недавно, в живых оставшийся... "Весна, весна! Как высоко..."

И было в Монтрё другое, чего я еще никогда не видал, да и позже не довелось мне увидать. Были нарциссы. Цветок этот был мне знако́м на клумбах и у нас в Финляндии произрастал, в букеты втыкал его садовник. Но что такое нарциссы, я все-таки не знал, - до тех пор как не заметили мы с мамой, вскоре после приезда, что над Les Avants, но совсем не высо́ко,

если с наших глядеть низин, виднеется длинная и широкая полоса снега, над нею - полоса лесов, потом лугов и скал, а еще выше снова белеет снег. Нижние те снега нарциссами и оказались. Мы ходили к ним в гости, но долго не оставались в гостях: аромат был слишком опьянителен. Мы охапками приносили их в гостиницу, но оставлять их в комнате на ночь было невозможно. Глупый я избрал себе с тех пор любимым цветком нарцисс; об этом, кому не лень, еще и лет десять спустя объявлял; дарил нарциссы, мне дарили нарциссы. Это все равно, что Ниагару полюбив, ручейкам изъявлять особую приязнь. А ведь на самом-то деле всего нежней любил я резеду. Но как-никак, чрезмерное это благоуханье - вздохни, умри - эти цветочные снега, нарциссные луга, - нельзя мне их забыть. И даже хорошо, что никогда за столько лет, никогда я к ним больше не вернулся.

Сонный городок

По нынешним нашим понятиям был он сонным. Но и сказочным, если среди нынешней жизни о нем вспомнить, небывалым был он городком. Прибалтийский, эстонский, Гапсалем звали. Курортом считали его не зря. Неправдоподобно тихим и мирным, баснословно беспечальным он уже и матери моей показался, когда привезла она меня туда, - летом того же отнюдь не безбурного года, после того, как мы все тропинки, над Женевским озером, между нарциссами и снегами, а затем на холмах Таунуса истоптали. На дачу же к себе заглянули лишь на самый краткий срок.

Тысяча. Девятьсот. Пять. Башенный бой часов; для иных и набат; - каким далеким он мне звенит, еле слышными счастливыми бубенцами! Хорошо было "шкилетику" недавнему, "нежильцу на свете" горным воздухом дышать; но и в соленой воде плескаться или на лодочке узкой узкими веслами грести, да еще с балериной у руля - в десять-то лет - было по-своему не хуже. Башенного боя не слышно было в чужих краях, а тут, в Гапсале, и башни вовсе не было, и редко смотрели люди на часы, и девятьсот пятый год легко мог сойти за девяносто пятый, восемьдесят пятый. Сплошь там все были для одной семьи домики с садами, двери их никогда не запирались на замок, соседи знали друг друга, и,казалось, весь город живет дружной семьей. На июль и август сняли и мы такой домик, или комнаты в таком домике. Удивились, что и задвижки не было на входной двери; но хозяйка нам сказала, что никаких злоумышленников в городе нет, что ни о каких грабежах или кражах здесь никто не слыхал; и через несколько дней этому легко стало поверить. Уютен был домик, а садик, как и все соседние, густо зарос крыжовником, смородиной и малиной. Огородничеством славилась Эстония, и ягодами эта ее полоса. Насладился я в то лето: любитель их был большой. Когда взрослые, по глупости, нередко им присущей, меня спрашивали, кого я больше люблю, папу или маму, я неизменно отвечал: землянику всего больше, а после нее папу и маму одинаково. Не здесь мне, правда, такие вопросы задавали, да и возраст мой был уже не тот. Совсем самостоятельным стал я тут мальчиком, как мне казалось. Но некоторых оснований это мое чувство и

в самом деле было не лишено.

Меня отпускали купаться с другими мальчиками, кататься на лодке в широкой бухте, вроде лагуны, косою отделенной от настоящих волн. Я один, сколько мне угодно было, гулял по городу. Был он весь садовый, огородный, птицеводный, населенный приветливыми людьми и многочисленными псами нестрашных размеров и невоинственного нрава; весь насквозь благодушный и добропорядочный. Об уличном движении упомянуть, хотя бы лишь пешеходном или велосипедном, значило бы впасть в анахронизм: и речи о нем ни малейшей не было. Полицейские, если и существовали, то незаметно, как пожарные: кто ж о них думает, покуда нет пожара? Казармы, больницы, внушительные казенные здания - хоть шаром покати - из моей памяти, во всяком случае, они полностью исчезли. Лавки были старомодные, небольшие, опрятные; купишь что-нибудь, еще и гостинец получишь в придачу. Курзал, однако, - одноэтажный, если не ошибаюсь - был налицо: ведь из Петербурга (не из одного Ревеля, скажем) приезжали сюда летние гости; их развлекали спектаклями, музыкой, танцами; праздники устраивали для них и для их детей.

В этом курзале и случился со мною казус, показавший, что не таким был я уж "большим", как себе казался. Была устроена лотерея и лучший выигрыш достался мне. Какой ужас! Вытянул я билет номер первый и выиграл корову, живую, молочную корову, с большими рогами. Рога устрашали, но сильнее страха было нечто вроде стыда или ложного стыда: "Мама, ведь одна у нас в Райволе есть, зачем нам вторую, и как мы повезем ее, и что мы с ней делать будем? Не хочу, не хочу корову!" Несчастье это осчастливило, благодаря моей матери, молодого фермера с женой, на долю которых выпал выигрыш номер два, большая синяя с золотыми лилиями ваза Императорского фарфорового завода. Мы обменялись билетами. Ваза поехала с нами в Петербург, где превращена была в лампу с большим абажуром. Не нравилась она мне. Сперва, должно быть, корову напоминала; позже я ее попросту аляповатой находил. Октябрь меня от нее избавил. Спасибо Октябрю! А лотерейного счастья искать я уже задолго до него на всю жизнь потерял охоту.

В Гапсале, счастливчику мне, и какого бы то ни было искать было вполне излишне. Бери, прямо в рот и клади, как

малину и крыжовник в саду. Тут нашелся и друг для меня, и нежней, чем друг: **особа женского пола**, но возраста не того же самого. Другу было вдвое больше лет, чем мне. Это балерина и была. Не Кшесинская, не Павлова, да и не было еще Павловой, но все же танцовщица Мариинского театра, недавняя ученица знаменитого училища на Театральной улице, Мария Александровна Макарова, или Маруся, как мне было позволено, велено вернее, ее звать. Старшая сестра ее, Елена Александровна (Лёля) в том же подвизалась кордебалете, но лето в Гапсале не проводила; с матерью их, провинциальной актрисой, невероятно громогласной и болтливой, познакомилась моя мать, и с ней проводила время, больше, чем с ее дочерью, а та больше со мной. И, как это ни странно, не только я охотно с ней на лодочке катался, даже в душегубку часто мы с ней вдвоем садились, но и она, по всей видимости, находила приятность в незамысловатом общении со мной. Вероятно потому, что много детского сохранилось в ней, как это часто бывает, по моим позднейшим наблюдениям, у балетных. Не матерински она меня опекала, а товарищем старшим себя вела или старшею сестрой. Подробно рассказывала мне о том, как учат танцевать (впоследствии и меня этому учила - Боже! - до чего безуспешно!) и даже мои рассказы слушала (должно быть о заграничных прогулках). Так мы подружились, что расставаться с ней, в конце лета, было мне грустно. И ей было грустно. Я это почувствовал. Памяти ее благодарность за это шлю.

Другое было глубже и острей. Вполне детским было, и уже не детским. Девочке той, Тане Назимовой, десять лет недавно исполнилось, как и мне. Я познакомился во время купанья с ее братом, на год меня старше, Борисом, кажется.. Как Танечку звали, этого я не забыл; помню теперь, помнил и всегда. Мальчишка был грубоват, сестру обижал, я с ним дрался из-за этого. А с ней установился у меня вскоре непреднамеренный союз, такой же неизбежный и простой, как у двух тонов, которым предназначено вместе звучать в одном аккорде. Темными были ее глаза, темнокаштановыми косы, но смуглым не был нежный овал ее лица. Стройная, тоненькая; легче легкого были ее руки. Мы не катались с

ней на лодке; я лишь два-три раза был у них в доме, мы и разговаривали не так много, хоть и виделись каждый день. Когда брат ее оставлял нас в покое, мы гуляли рядышком в конце дня по каким-то дорожкам. Нам было хорошо. Никогда я ее не тискал, не обнимал, рук ее не сжимал в своих. Они уехали раньше нас. Когда мы прощались, она положила легкую свою ручку на мое плечо и коснулась губ моих губами.

Ее отец был довольно крупным чиновником какого-то министерства. Матери наши познакомились и собирались продолжать знакомство в Петербурге. Танечка училась в институте, но, кажется не в Смольном. Мы думали увидеться. Мы больше никогда не увидались. Года через два я узнал, что она умерла

Реформатское училище

Все четыре немецкие школы в Петербурге были на очень хорошем счету, и моя трем другим в этом ничуть не уступала. Нет у меня основания думать, что она, или эти школы вообще, были почему-либо лучше Тенишевского училища, например, или наиболее подтянутых и хорошими преподавателями снабженных гимназий, но что репутация их была оправдана я, тем не менее, убежден. Из собственного опыта, однако, особых тому доказательств извлечь не могу. Не только потому, что в других школах не учился, но и потому, что от моей не получил того, что мог бы от нее получить. Случилось это не по ее вине, а по вине моих родителей и моей собственной.

В Реформатском училище было два отделения, гимназическое и реальное. Увы, не гимназическое я окончил. Ни о чем в моей жизни я так горько не жалел. Какой же я "реалист"? Никогда не вышло бы из меня никакого инженера, никакого практического - будь то деятеля или дельца. Как бы широко ни понимать ту модель человека, которая имелась в виду, когда создавались реальные училища, во мне и отдаленнейшего соответствия такой модели не найдется. Для греческого языка рожден я был и для латыни, повсюду выбрасываемых нынче из учебных планов, потому что не требует их никакая практика. А в Реформатском училище как раз преподавали древние языки особенно усердно, талантливо и успешно. Большинство студентов, занимавшихся в Петербургском университете классической филологией или древней историей, работавших под руководством Зелинского и Ростовцева, были до этого, как я позже узнал, учениками гимназического отделения нашего училища. Его директор, Артур Александрович Брок, сам был, по своей университетской подготовке, филологом-классиком, и остался до конца горячим сторонником классического образования; энтузиастом, в первую очередь, греческой его основы. Преподавание греческого языка поручено было редкостному его знатоку, бывшему также, по свидетельству его учеников, превосходным педагогом. А я... Ведь и возможность одуматься мне дали. Распознали меня, каким-то

чудом, когда я сам себя совсем еще не понимал. Но и это не помогло. Балбес остался "реалистом".

Поступив в первый класс, я только до Рождества в школу и ходил. Потом болел, поправлялся близ гор и возле моря. Осенью меня все-таки приняли во второй класс, даже и без экзамена, но перед началом занятий директор вызвал мою мать и посоветовал ей перевести меня в классическое отделение. Мать готова была согласиться, хотя пленить ее греческим языком было, должно быть, не легко; но когда мне предложено было высказаться, заартачился я, и был поддержан отцом, который ничего, в свое время, кроме Петербургского Коммерческого училища не кончал, а обо мне разумел, что, школу окончив, поступлю я в Технологический, Горный или Путей сообщения институт; но, главное, по-видимому, слишком много внимания оказал, как и мать, сентиментальным моим доводам насчет того, что хочу я вернуться в свой класс, к своим товарищам, к своему классному наставнику (родители мои его знали: во время болезни он меня навещал); мне казалось, что иначе я даже перебежчиком каким-то окажусь во враждебный лагерь надменных гимназистов. Если бы я захотел в этот, всего более подходящий для меня, лагерь перейти, отец согласился бы со мной. Слабохарактерен он не был, но меня в дальнейшем не раз даже и удивляло его нежелание мне перечить в решительных моих выборах. До странности - не умею этого выразить иначе - он меня уважал, верил мне и в меня. Эта вера, о которой он, однако, никогда не говорил, я ее чувствовал, она была самое драгоценное, что он мог мне дать, и дал, оттого что обмануть доверие его было бы мне слишком больно. Вероятно и в этом решении главную роль сыграли не инженерные институты вдалеке, а просто подумал он, что сын его прав, и что незачем десятилетнее деревцо, вопреки сопротивлению этого деревца, из одной кадки пересаживать в другую. Я лишь очень поздно вполне осознал, какой несебялюбивой любовью любил меня отец. Он и тут, если сплоховал, то не сердцем, а умом. И пенять мне надлежит только на себя за то, что вовремя я не отплыл к Троянским берегам или к лесистому маленькому острову, где Пенелопа ждет Улисса.

Отплыть-то я все-таки отплыл, но с многолетним опозда-

нием, и упущенное так трудно было нагнать, что я его полностью и не нагнал. Не читаю, как мог бы читать, ни Гомера, ни Платона, ни Тáцита в подлиннике свободно, а только расшифровываю их в небольших дозах и с трудом. Когда я сдал свой последний выпускной, "реалистский" свой экзамен и книги получил в награду, а директор уже знал, что в университет, на филологический факультет я поступлю, - наскоро заучив то самое, что до мозга костей мог бы в себя впитать, да не впитал, - он присоединил к этим книгам личный свой подарок брошюру, незадолго до того опубликованную им о воспитательном значении преподаваемого юношеству греческого языка. Он был справедлив и добр, обидеть меня этим не хотел, но, объективно (как любят говорить марксисты) это была ирония, и я ее до сих пор с грустью ощущаю. С грустью, но без упрека ему, и с любовью к его памяти. Десятилетие прошло, и мы стали встречаться с ним в университете, где я только что начал преподавать и где ему было поручено читать курс педагогики. Как жаль, что я его не спросил, каким образом он в малолетнем школьнике, четыре месяца всего посидевшем на парте в первом классе, "нереальность" его угадал и его пригодность для гимназии. Он вовсе в этом классе и не преподавал; самое большее раза два замещал отсутствующего учителя. Один он, пожалуй, и способен был угадать. Был он и впрямь педагог, да и человек незаурядный.

Вспоминая Училище, первым вижу его. Хрупок он был, худощав, слегка сутул. Синий фрак с золотыми пуговицами легко, не в обтяжку на нем сидел и шел к его светлым волосам и бородке, светлому, узкому, молодому еще лицу и голубым глазам. У нас он преподавал только в третьем классе, древнюю историю, - хорошо, но без особенного блеска. Воспитателем был прежде всего. Учеников своей школы поголовно знал в лицо и каждому готов был оказать внимание. Голоса никогда не повышал, не принимал никогда грозного или даже "внушительного" вида, но уважение внушал самым отчаянным сорванцам, и притом, не боязненное, а какое-то, как это ни странно, жалостливое. Никому не могло быть приятно поранить его безобразным поведением, грубыми, да и просто громкими словами. Он вовсе не запрещал себе улыбаться, но серьезность его

была заразительна.

Когда в классе, как иногда случалось, бушевала буря, с которой не мог справиться учитель, он вызывал директора. Шагов Артура Александровича в коридоре было достаточно, чтобы водворилась примернейшая тишина. Он всходил на кафедру, укоризненно качал головой, потом просил учителя продолжать урок, оставался в классе всего несколько минут. Тишина и после его ухода не нарушалась. Меня не раз отправляли к нему из класса за плохое поведение. Всего чаще с уроков гимнастики, которых я терпеть не мог. Услышав мой стук, он приоткрывал дверь кабинета, но просил меня присесть на стул против двери и подождать. Минут через десять впускал меня; был один, мог бы впустить и раньше. Сажал возле письменного стола, делал мне внушение, - очень мягко, как-то бережно, мне порой от этого хотелось плакать. После нескольких таких внушений, он меня совсем от уроков гимнастики освободил.

Наставники

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Этот призыв двадцатишестилетнего поэта, из Михайловского обращенный к однокашникам его, многие готовы будут принять, и к своим бывшим товарищам обратить, даже если ходили они всего лишь в школу, и такую, что́ с царскосельским Лицеем имела очень мало общего. Готов и я. Только, "и живым" поздно мне говорить, а насчет незлопамятства надлежит сказать, что никакого зла ни один преподаватель Реформатского училища мне не причинил (по крайней мере осознанного мною), так что я охотно их всех "помяну добром" (как принято говорить); с той, однако, правдивости ради, оговоркой, что лишь немногие из них памятны мне чем-то положительно благим, полученным от них; хотя другого, от других полученного, я, быть может, попросту не помню. Спросив себя, кто были наставники мои, я ведь и вообще не подумаю, в первую очередь, о школе. Подумаю о дошкольной французской воспитательнице моей, а затем о многом внешкольном или послешкольном...

Да и воспитывать пламень в нас, "реалистах", будущих коммерсантах или инженерах, никто, собственно, и не пытался. Но, директора Брока уже помянув, я все-таки память храню и о трех других учителях, которых можно и должно воспитателями, наставниками назвать, - первых двух в обычном, с моралью связанном значении этих слов, третьего в другом, более редком, чисто интеллектуальном.

Первый был тот самый Herr Gydé, который на свое попечение меня принял, как только я в школу поступил; меня, больного, навещал, и ради которого (в значительной мере) я и воспротивился переводу меня в гимназическое отделение, где бы я вышел из-под его опеки. Был он нашим "классным наставником" все семь лет, так что опека его была коллективна, и эту коллективную опеку я разве что за ее ненавязчивость и мягкость ценил; но и расположение его ко мне лично чувствовал, и нравился мне он сам, да и кажется большинству из нас

внушал симпатию. Французскую фамилию свою он вероятно зря через ипсилон писал: она родственна фамилии Андрэ Жида. Он был родом из гугенотов, бежавших в протестантские земли после отмены Нантского эдикта, но ничего французского в нем уже не оставалось, а вполне обрусеть он тоже не успел; учился, думается мне, в Германии. Был добропорядочным и добросердечным немцем, старомодным немножко, и которому эта старомодность очень была к лицу. Преподавал нам географию, по им самим составленному учебнику, а также немецкий язык и, в старших двух классах, немецкую литературу.

Преподавал хорошо. Весь последний год посвятил одному Гёте и – мне, во всяком случае – помог Гёте узнать и полюбить. А в качестве воспитателя, никогда от справедливости не отступал и "любимчиков" у него не было. Этим, должно быть, и внушил он мне, еще в первом классе, никогда с тех пор не поколебленное к себе доверие. Я подрался с одноклассником моим, рыжим задирой Гётцом, рассердился и, хотя тот был сильнее меня, крепко его поколотил, после чего он пошел жаловаться классному наставнику. Тот приговорил нас обоих к часовому сидению в школе после уроков, сказав при этом Гётцу – "Ябедничать тоже нехорошо". Времена были давние. Памятников доносчикам и вообще никто не ставил. И, кажется, сам Гётц, отсидев под надзором штрафной час в пустом классе со мною вместе, справедливости этого приговора – вслух, по крайней мере – не оспаривал.

Фамилия второго учителя, с любовью вспоминаемого мною, тоже была необычная (болгарская? турецкая?). Его звали Павел Иванович Беюл. Русской грамоте он нас учил, в младших классах, и географии России. Не помню как учил, возможно, что не Бог знает как. Скуки, однако, не наводил, в серые шинели полуобщественности, полуказенщины русских писателей не облекал, как это делал заместивший его в старших классах, орденами награжденный и ценимый в учебном округе, преподаватель Белошапкин, подменявший Островского "темным царством" и Обломова "обломовщиной", почти так же, как это делается в нашей стране и теперь, и ничему превышающему то, чему учили тогдашние учебники, нас не научивший. Относился он к нам с нескрываемым холодком, обаяние приберегая (как

говорили) для женских учебных заведений, хоть и навсегда осталось мне неясным, откуда этот коренастый, немолодой, ежиком подстриженный и курносый человек обаяние мог извлечь, кроме как из цветного платочка в боковом кармане и цветочного одеколона, которым неприятно пахло от него. Тогда как Павел Иванович, черномазый, щупленький, небрежно одетый и не всегда хорошо выбритый южанин, тем-то своих малолетних еще учеников и покорял, что сердечной теплоты в нем таились неисчерпаемые запасы, и казалось нам всем, даже, когда он нас бранил и дурные отметки нам ставил, что любит он нас, как своих родных детей. Как он к своим относился, да и были ли у него свои, не знаю; но пестовал он нас, когда целой ватагой по Волге и на Кавказ возил (о чем будет еще рассказано) с неустанною лаской.

И все я помню, через шестьдесят пять лет, как он окликнул меня снизу, через этаж на школьной лестнице "Володя!", чтобы сообщить мне приятную для меня весть. Прозвища мои были ему неизвестны; никто, кроме него, этим простым уменьшительным именем меня не звал. Было это перед самым окончанием училища. Он уже три года, как нам не преподавал, но участвовал в комиссии, оценивавшей наши экзаменационные "сочинения" по русской литературе. "Володя", сказал он мне, на лестнице меня догнав, и обращаясь ко мне на ты, чего другие учителя уже не делали, "мне следовало бы молчать, узнаешь завтра, но ты получил пятерку, твое сочинение - лучшее", и он крепко меня обнял. Радость его была подлинна; была чище и выше, чем моя.

Третий учитель, математик Пшелясковский, совсем не похож был ни на второго, ни на первого. Он появился у нас лишь в седьмом классе, где все математические предметы переключены были на русский язык, для облегчения подготовки к экзаменам (конкурсным) в соответственные высшие школы. Благообразием не отличался, пальцы у него были темно-ржавые от табака, любил отпускать колкие, не совсем и пристойные порою шуточки; зато основы аналитической геометрии и дифференциального исчисления та́к остро и живо излагал, и сообразительность нашу на испытание ставил та́к искусно, что я словно очнулся, проспав до тех пор шесть лет, и

стал проявлять полностью отсутствовавшие у меня, как я думал, математические способности. Каким-то чудом этот бесцеремонный и "быстрый разумом" поляк вселил их в меня, пусть и на короткий срок; да он мне и впрямь казался - такого пошиба людей я еще не встречал - единственным в своем роде чудодеем. В нашем классе произвел он настоящий катаклизм. Многолетний первый ученик был им высмеян и объявлен тупицей. "Помнить или забыть - говорил он - эка важность; я вас учу мозгами шевелить". И действительно, учил - тех, кто были способны этому учиться. Других не желал и спрашивать, ставил им сплошные тройки, чтобы не лишить их права держать выпускные экзамены. Мне же, после окончания школы, оказал высокую честь. Кто-то сказал ему, что я поступаю на филологический. "Туда ему и дорога" буркнул он злобно. А потом прибавил другим тоном: "Я думал, на математический пойдет".

Товарищи

"Товарищ" - я люблю это слово. Не испорчено оно для меня безостановочно-механическим повторением его в некоторых странах. Но я и прежде его любил только в единственном числе; во множественном оно мне безразлично, и тем безразличнее, чем множественней эта множественность. Все ученики Реформатского училища были, конечно, мои товарищи, но солидарность мою с товарищами по классу я сознавал, все-таки (особенно в первые школьные годы) значительно острей: недаром отказался променять моих товарищей на новых. Но чем дальше, тем и это "классовое сознание" все больше во мне ослабевало. Слишком много нас было, человек 25. Маленькая группа в пять-шесть человек скорей бы меня горя́чей солидарности научила, но таких "ячеек" вовсе у нас и не было. Да и не был я от природы ни вожаком, ни покорным исполнителем воли другого вожака. Кружковщина, всяческая, и позже была мне чужда, а в школе и бороться мне с ней не приходилось, - тем более, что пропагандой каких-нибудь идеологий - революционных или черносотенных, например - никто у нас, даже и в старших классах, насколько мне было известно, не занимался.

Так что у меня, среди товарищей, были отдельные товарищи, товарищи в единственном, каждый раз, числе; которые между собой вовсе особенно и не дружили, а со мной были связаны приятельством или дружбой другого, каждый раз, оттенка. Четверо их было: двое более близких, постоянных товарищей моих и друзей, и двое, с которых начну, более отдаленных, или краткосрочных.

Первым, по времени, был Рома Брунс; не Романом его звали: его редкое германское имя было Ромо. Мальчик это был благовоспитанный и миловидный, застенчивый, розовощекий, не без девического чего-то в тонких чертах продолговатого лица. Учился неважно, я ему помогал. Драться не умел, я его защищал от драчунов, бранивших его, как в таких случаях полагается, "девченкой". На переменах мы чаще всего прохаживались вместе, причем я имел обыкновение слегка сжимать правой рукой его затылок, - а то и посильней: рукой этой его душить. Сопротивлялся он редко;

был кроток, слушался меня охотно; к счастью, однако, главным образом для меня, дружба наша через два-три года стала сама собой охлаждаться, и я в эту роль покровителя, да еще и душителя, полностью не вошел. А затем и отстал Рома от нас, на второй год был оставлен, в пятом, кажется, классе. Последнее мое воспоминание с ним связанное - день рождения его шестнадцатилетней, показавшейся мне совершенной красавицей, сестры, которой братец, шутя, поднес, розовой лентой его повязав, флакон касторового масла. Этот дьявольский медикамент она считала отборным лакомством. Жили они на Невском, близ Александровского сада. Но я, помнится, у них и был только этот один раз.

Другой одноклассник мой, Игорь Миклашевский, лишь за последние два школьных года стал моим приятелем. Мы сидели с ним на одной парте и отстукивали друг у друга на спине лейтмотивы вагнеровских опер, отнюдь их при этом не напевая: во-первых потому, что игра эта происходила во время уроков, а во-вторых, потому, что и состояла она в угадывании лейтмотивов по одному их ритму и темпу, к которому мы примешивали, правда, (хоть и не всегда) еще и разность расстояния между клавишами, при игре на рояле, которой мы оба обучались, - он намного успешней, чем я. Мечта его была - поступить в Консерваторию, стать дирижером. Он и дирижировал, в полном уединении, дома, стоя за пультом и переворачивая одну за другой страницы партитур. Читать их он уже умел; был у него и абсолютный слух. Если не погиб на войне, или после войны, наверное стал музыкантом.

Но теперь, и покуда я его из виду не потерял, был адептом не столько музыки, сколько вагнеровской музыки. Однажды, в то лето, когда его родители снимали дачу там же, где у нас была своя, он причалил к нашему берегу речки, стоя в рыбачьем челне и гребя одним веслом. Изящно прыгнул на ступеньку пристани и поднес сидевшей тут же на скамейке моложавой даме (потерявшей голос певице Мариинского театра) сорванный на другом берегу ландыш. Она воскликнула: "Прямо Лоэнгрин!"

Из двух лучших товарищей моих, раньше был мной обретен и раньше, еще до войны, исчез с моего горизонта, по-

ляк Еже Корчак, называемый Жоржем, краснощекий крепыш с открытым лицом и смелым взглядом карих глаз. У него был брат, Манюсь, на год младше, а потому и не в нашем классе, который вызывал у меня жалость: отчасти оттого, что дразнили его "Манькой", но более оттого, что говорил он "дод" вместо "год" и "тот" вместо "кот", так что по-немецки заменял голову горшком,"топф" вместо "копф", над чем товарищи его - вот где слово "товарищ", при множественном числе, обнаруживает свой яд - глумились усердно и неустанно.

Манюся, избавившегося впоследствии от своего недостатка речи, я впрочем, знал лишь потому, что бывал иногда у его брата. Они были сироты, их воспитывали две тетки, старые девы, служившие где-то на грошевом жалованье. Жили в тесной плохонькой квартирке, где, однако, грязи никакой не было: Жорж сам помогал квартиру убирать, сам стирал белье, свое и брата, с четвертого класса зарабатывал деньги, давая уроки несмышленым малышам. Вел себя, вообще, героически: вставал засветло, тщательно готовил уроки, вникал во все классные объяснения учителей, не терял времени ни на какие пустяки, был всегда опрятен, костюмчик берег - формы у нас в школе не было - выростая из него, продолжал его носить и проявлял большое воздержание в пище, даже когда гостил у нас, дабы не приучаться к многоядению, - чем огорчал мою мать, но вызывал уважение отца - не чуждого угрюмству, да и ворчливого порой - но который добродетели этого рода понимал всего лучше и сочувствовал им всего глубже, хотя смолоду нужды вовсе сам и не испытал.

Жорж был католик и горячий польский патриот. Когда мы спали в одной комнате зимой на даче, я видел как он неизменно перед сном становился на молитву. Защитников польской свободы, Костюшку и других, свято почитал. Со мной, однако, на такие темы разговора не заводил; любил меня искренне, дружил со мной теснее чем с польскими друзьями, доверие мне оказывал, искал моего совета, поверял мне даже - по старинному выражаясь - "тайны своего сердца", тогда как я своих никогда никому не открывал. - Когда мы стали подрастать, начались для Жоржа большие испытания.

Он был влюбчив, и все кралечки его были русские; а убеждения, которых так твердо он держался, позволяли ему с русскими дружить, но жениться на русской запрещали. "А если без женитьбы?" - "Что ты говоришь! Ей пятнадцать лет!"

Помню его рассказ о том, как он, провожая эту старшую сестру Лолиты и поднимаясь с ней на лифте на пятый этаж, испытывал адские муки от желания ее поцеловать. Но так, "не солоно хлебавши", и спустился один вниз, хотя воздушное это существо ему, по-видимому, благоволило. Наконец, найдена была полечка, красотка каких мало! Чтобы мне ее показать, Жорж - мы были уже взрослыми - пригласил меня на спиритический сеанс к людям мне вовсе незнакомым. Спиритизмом я не интересовался. Он уговорил меня прийти, усадил рядом со своей почти-невестой, за круглый стол, и, когда потушили свет, она нежно приложила свою щеку к моей и ножкой пожала мою ногу. Соблазн был велик. Если я ему не уступил, то лишь потому, что Жорж был не кто-нибудь, а Жорж. До сих пор жалею, что не уступил. Жалею - и не жалею.

Школьные годы инженера Куренкова

Инженеру-технологу Александру Александровичу Куренко́ву в 1924-ом году было тридцать лет. Женившись незадолго до того, он служил в каком-то петербургском учреждении по своей специальности. Не помню, был ли в июле того года на Финляндском вокзале среди провожавших меня, когда я уезжал; но, во всяком случае, я прощался с ним перед моим отъездом, и он знал, как и все провожавшие, что я не вернусь. Мы не переписывались с ним; я о нем не имел с тех пор никаких известий. Не исключена возможность, что он жив. В конце концов, был он лишь на год старше меня и, в отношении поводов к истреблению со стороны государственной власти, скорей благополучен. Происхождения был скромного, достатка тоже, в гражданской войне участия не принимал, никаких четко очерченных политических убеждений не имел, обладая зато полезными для строительства или попросту для государства знаниями и сноровкой. Мог, разумеется, и скончаться или, поскользнувшись на каком-нибудь повороте, быть выведенным в расход. Но если ты жив, Шура, послушай: вспомни, ты ведь не просто учился со мной в одном классе, ты был главный мой школьный товарищ, и я был главным твоим товарищем. Помнишь, какой ты был толстый мальчик, толстяк? Толще тебя в классе никого не было. А потом исчезло в короткий срок неестественное это ожиренье, и стал ты юнцом хоть куда. Но я о мальчике буду вспоминать.

Учился Шура со мной в одном классе с самого начала, но сблизились мы с ним лишь на третий или четвертый год. С тех пор он постоянно гостил у нас на даче, летом, да и на Рождество или на масленичной неделе. Мать моя очень его полюбила; даже толщина его и медвежьи повадки, забавляя ее, вместе с тем и нравились ей. Отец мой обращался с ним, почему-то, сурово; иначе как "Куренков" не называл. Но охотно видел его у нас, и дружбу нашу одобрял. Учился Шура хорошо, лучше чем я, более последовательно и усердно; почти бессменно был вторым учеником, но бессменному первому не завидовал, обогнать его не пытался, был другого склада; ничего от заправского пятерочника и педанта в нем не было.

При всей своей мешковатости мальчик был он шустрый и веселый, вспыльчивый, но и отходчивый, обладавший врожденным чувством справедливости и меры. Иных преподавателей, особенно французского и английского языка, безжалостно в нашем классе "разыгрывали", изводили. Мы с Шурой отчасти на том и сошлись, что крайности коллективной этой травли нас отталкивали. Он понимал, что ни добродушный старик Барбеза, ни проглотивший аршин мистер Стьюбингтон ничем такого издевательства не заслужили; и очень был доволен, когда британского страдальца, лишенного возможности чему-либо нас научить, заменила мопсообразная, приземистая и необыкновенно зло умевшая улыбаться особа - единственная женщина в преподавательском составе школы, которая всю эту волчью стаю, при первом появлении, обратила в молчаливое стадо робко взиравших на нее ягнят. Я же и вообще, с тех пор как себя помню, крайнее отвращение питал ко всякому "Семеро против одного", всегда одному сочувствовал, каким бы негодяем он ни был, и растворяться в массе, хотя бы только мысленно, ни малейшей способности не проявлял. У нас еще порой наваливались толпой на какого-нибудь - как бы его назвать - "врага народа" что ли - чтобы придавить его дружным напором к коридорной стене. "Масло выжимать" все еще это называлось, как в "Очерках бурсы" Помяловского. Я этих очерков дальше первой главы и читать в те годы не захотел. А когда наталкивался на само "выжиманье", изо всех сил начинал тузить в спину одного из повернутых ею ко мне палачей, покуда не обращал гнев его на себя, или не вызывал крайнего его изумленья. - Как мне было объяснить ему, что он лишь попался мне под кулаки, и что колотил я - а хотел бы и гораздо больше чем поколотить - массу, толпу и уже, безотчетно, все то обесчеловеченное "многоногое оно", что с тех пор такую власть приобрело над людьми и, что никогда не перестанет мне внушать омерзение и ужас.

Шура в таких делах участия не принимал, и вообще стадности был чужд. Подростком, по примеру других, тайным куреньем в уборных не занимался. Похабных басенок и острот не повторял. Солистом вообще себя вел,

хору не подтягивал, да и в запевалы не метил. Таких мальчиков, себя самого и всех друзей моих к ним причисляя, было, я думаю, в нашем классе шесть или семь. Но жилось нам от этого, надо заметить, вовсе не труднее чем другим. Не только школьное начальство не стремилось всех школьников сделать похожими один на другого, но и те товарищи наши, что вели себя не так, как мы, не настолько были сплочены в компактную массу, чтобы мы ощущали с их стороны непрестанное давление на нас. Бурсацкие нравы уже легендарными казались даже тем из нас, которые сумели бы, в былые времена, вжиться в них или с ними ужиться.

Шура, например, был даже популярен среди них; он не прочь был объяснить, научить, подсказать; а задирать его, при всем его добродушии, не решались. Он хотя и толстяком был, но рослым, и рассердившись мог справиться с тремя драчунами зараз. Он был настоящий "хороший ученик", по совести, а не напоказ. Школа наша точно и создана была для таких, как он. И мне нравилось в нем, как теперь подумаю, уравновешенность, спокойствие, незыблемая его нормальность. Его отец служил старшим приказчиком, а мать кассиршей во французском книжном магазине Мейе на Невском, близ Мойки, против Строгановского дворца, в двух шагах от училища, еще ближе к которому они жили, во дворе одного из выходящих на Мойку домов. Бывал я там редко, чаще Шура у нас, с тех пор как мы переехали на Малую Конюшенную, где порой и уроки готовили вместе. Но его отец, добродушнейший Александр Ильич, однажды, вняв моим мольбам, отпер для меня ключом, не покидавшим его кармана, дверь заповедной комнатки, которой ведал он один, и где свисали с потолка и стояли на столах, на стульях, друг на друге бесчисленные птичьи клетки, чьи пленницы-певуньи встречали его разноголосым щебетом. Другой его страстью было оперное пенье. Галерочным слушателем лучших певцов был он смолоду; любил восхвалять голос Стравинского-отца ("более бархатный, чем у Шаляпина") или Медеи Фигнер ("вот вы бы ее послушали лет тридцать назад, - и какая красавица была!").

Мать Шуры словоохотливостью не отличалась и казалась мне иссушенной заботою о своем единственном сыне, который

и сам ее обожал и никаких особых забот ей не доставлял. Нам, однако, то есть матери моей - она его охотно летом и на целый месяц или два вверяла - и та милого увальня, юношей становившегося, учила манерам. Целовать дамам ручку, например: он прикладывался носом и чмокал с опозданьем; или садиться налево от дамы в экипаж: он попал однажды направо. Мы ехали длинной вереницей на пикник. И дама эта, на много лет его старше, как на зло была хороша собой да еще и очень ему нравилась. Заметив ошибку, когда уже тронулись в путь, он стал перелезать через ее колени, а ее самое подталкивать на прежнее свое место. Дама так хохотала, что чуть из тележки не выпала.

Что скажете, инженер Куренков? Разве не так все это было?

По Волге и на Кавказ

С моим детством и ранними школьными годами мне проще всего распрощаться, вспомнив нашу летнюю школьную поездку по Волге и на Кавказ. Организовал ее и руководил ею в 1907 году, при нашем переходе из третьего в четвертый класс, учитель наш, любвеобильный Павел Иванович, уже помянутый мной. Мне было тогда двенадцать, а Шуре, вместе с большинством моих одноклассников, ездившему с нами – тринадцать. Замысел экскурсии, продолжавшейся недели три, был отчасти, разумеется, дидактическим: географией России нам как раз и предстояло заняться в следующем учебном году; но Павел Иванович не такой был человек, чтобы о нашем удовольствии забыть. Нарочитой дидактикой он дорожных наших радостей не отягощал, заботясь скорее о том, чтобы путешествие пришлось нам по душе и стоило бы недорого. Цена его и в самом деле никого не отпугнула. Было нас человек тридцать, прихватили, кажется, кой-кого из параллельного гимназического отделения. До Москвы отведен нам был вагон третьего класса; взрослых же, из родителей, например, никого с собой не взяли, – никого, за одним, крайне меня смущавшим исключением. С нами ехала, пока что, правда, мало кем замеченная, в соседнем вагоне второго класса, моя мать. Упросила таки Павла Ивановича! А я, как ни бился, отговорить ее не смог. Что ж мне теперь скажут мои товарищи? Маменькиным сынком обзовут, дразнить меня будут. Их-то ведь родители с ними не едут, отпустили их; ведь мы уже большие; и зачем только она это вздумала?

Мысли эти, впрочем, больше меня мучили по дороге на вокзал; когда же я оказался среди своих спутников, и особенно когда тронулся поезд, начался такой галдеж, такое беганье из одного конца вагона в другой, такое, при моем участии, неотвязное приставанье к Павлу Ивановичу с бестолковыми распросами, что я уныние свое забыл и стал сломя голову шуметь и веселиться. Так никто во всю ночь и не заснул. Вспоминая не один этот пролог, но и все наше странствие, я всех нас вижу приготовишками, малышами, как будто нам всем было на три или на четыре года меньше, чем на самом деле: вероятно индивид всегда взрослей, чем коллектив.

Но коллектив молокососов все-таки куда милей, чем сообщество безмозглых набивших себе голову ерундой, юнцов. Это выяснилось в Клину. Поймав меня там в буфете, мама усадила меня за столик, напоила вкусным кофе и накормила пирожком, в то время как спутники мои толпою ждали очереди у стойки. Задние стали оборачиваться, саркастически на нас глядеть, но и они получили по пирожку, а Шуре достались, по комплекции и росту, два. Он-то, кажется, в дальнейшем, пропаганду в пользу моей матери и повел: тетя Оля, она ничего, леденцов у нее большой запас, она тебе и пуговицу пришьет, объешься - слабительного даст, горло простудишь - компресс поставит. Так все и пошло. С первых же дней на Волге, стала она и впрямь тетей Олей для всех этих самозванных своих племянников. Но в Москве исчезла. Осматривали мы город без нее.

Что нам показывали, Бог весть. Помню только памятник Александру Второму. Не сам памятник, а вид оттуда - пестрый, мелкочленистый и праздничный, с большой надписью поперек панорамы "Воды Ланина", от которой он казался еще уютней. Позже, когда бывал в Москве, никогда я не упускал видом этим Кремлевским полюбоваться. Царь-пушку, да пожалуй и колокольню над ней, можно было, в крайнем случае, и в Петербурге себе представить; но антипетербургское то зрелище этим своим "анти" меня и околдовало. Вижу его и сейчас; оно для меня больше, чем что-либо другое - Москва. Занавес, после него, все прочее, впервые увиденное, от меня прикрывает. Впечатлений волжских - да и кавказских - сохранилось у меня в памяти крайне мало, куда меньше, например, чем швейцарских за два года до того. Объясняется это, вероятно, тем, что я очень редко оставался один или с матерью вдвоем, а гурьбой воспринимать окружающее с той же силой, как наедине, я и до сих пор не научился. Поездка была развеселая и меня веселила не менее, чем других, но запечатлелось мне из виденного тогда так мало...

Помню досчатые пристани и крестьянский люд, толпившийся на них, прежде мною в столь богатых образцах не виданный. В Казани был и позже; Сумбекина башня, как во сне промелькнула для меня тогда. Самара жарой нас поразила и полурасплавленным асфальтом ее улиц, в котором застревали наши

каблуки. Саратов - сады и сады, приветливые, тенистые; пожил бы я там; но больше Саратова не видал. В Царицыне - предгрозовая духота, и всю ночь зарницы вспыхивали за Волгой. Здесь мы пересаживались на поезд. Мать взяла меня ночевать в гостиницу. Огромный жук-олень полз по тротуару; был схвачен; купили эфиру в аптеке; триумфально привез я его к себе, две недели спустя, на дачу, точно льва поймал для зверинца, где имелись бы до тех пор одни лисицы да хорьки. Где он теперь, царь коробки под стеклянным верхом, грозовой этот Волгоградский жук?

А потом мы ехали медленно степью, не сожженной еще, цветущей, местами и благоухающей. Где-то невдалеке уже от станции "Минеральные воды", поезд наш остановился на полустанке, ждать встречного; мать поманила меня в окно, пройтись. Я вышел, побежал, и сразу же упал в траву, доходившую мне почти до плеч. Встал; долго, долго дышал и глядел: простор этот понятнее мне был - Бог знает почему - и казался просторнее морского; можно идти, идти... это ведь не то, что плыть, - на чем бы ты ни плыл... Неизмеримый этот простор собственным шагом твоим можешь и не можешь ты измерить. Жаль было с полустанка уезжать. Но в Железноводске, куда попали мы часа за три до захода солнца, мы тотчас, с Шурой вдвоем, ото всех убежав, поднялись быстрым шагом на Машук, а с вершины его скатились по травянистому склону, лежа, вращаясь вокруг собственной оси, и предстали пред испуганной моей матерью зелеными, как лягушки, как свеже-выкрашенные садовые скамьи; спешно были погнаны мыться, переодеваться: но спесью зарядились неимоверной: в Пятигорск мы уезжали на следующее утро; никто, в подражание нам, с Машука скатиться не успел.

После этого был Владикавказ (где я в школьном общежитии спал на комоде, подложив одеяло, все время соскальзывавшее с него) и венец всей поездки - Военно-Грузинская дорога - всего лишь, увы! до станции Казбек, но с восхождением оттуда к снегам Девдоракского ледника. Затем, мы с матерью на скором поезде вернулись в Петербург, но к леднику карабкалась с нами и она, перевязывая разбитые коленки на бивуаках, и немало сластей прибавив к обугленным шашлыкам, которые

жарил для нас у ледника худосочный, в рваной бурке, обугленный черворукий старичок. Но тут, по мере того, как поднимались мы все выше, такие стали рододендроны цвести, такие вечные снега сверкать, что вдруг оборвалась во мне связь между спутниками моими и мной, перестал я их видеть и слышать, перестал и с Шурой говорить, рассеянно откликался на восторги матери, что-то в меня вошло, распирало мне грудь, хотелось не то плакать, не то кричать от радости. Каждый вздох был таким наслажденьем, и такое величие было вокруг, что я всех забыл, забыл и себя; "вышел из себя". Явилось мне нечто, чьего имени я еще не знал, Бессловесная еще (так я теперь скажу), но несомненная Поэзия.

Швейцария. 1908.

Через три года, теперь, все равно что через три дня. Через гри года, тогда, было все равно что через три десятилетия. Две весны только и миновали после той, близ гор, и вот мы снова, мама и я, едем в Швейцарию.

Не в те же, правда, места; и теперь не она меня везет, скорей уж я: Бедекер в моих руках. Насчет остановок, маршрутов, прогулок я рассуждаю; чаще всего и решаю. Прогулки эти - восхождения, но скромные - совершаем мы по-прежнему в единодушии полном, но думая каждый о своем. Она чуть шевелит губами, беседуя с кем-то, отдельные слова произносит даже и вслух, а я безмолвно сочиняю, себе на потеху, длинные, хоть и без особенных приключений, романы - о жизни в чужих краях и просторных, искусно построенных жилищах, где я меблирую каждую комнату - большую-пребольшую - по-другому каждый раз, и все-таки на свой лад. Обойщиком буду, что ли? Или агентом мебельной фирмы, сбывающей целые "обстановки" иногородним покупателям?

Тринадцатилетний мой возраст этим, однако, не отменялся, и матери моей я и сейчас лишь на девять десятых простил привычку, которая тогда меня мучила. В Тараспе я заболел ангиной, упорно посещавшей меня в то время раза три или четыре каждый год. Покуда лежал я ей в угоду пять регламентарных дней, давая ей воспалять мое горло то с одной стороны, то с другой, и в течение дальнейших пяти, покуда я считался недостаточно окрепшим, мама уходила в горы одна. "Вернусь к шести". Но вот и шесть пробило, и еще полчаса прошло, и прошло еще полчаса. Семь. Ее нет. Оступилась, упала, ногу себе сломала (как однажды, в раннем моем детстве, на углу Невского и Морской); сорвалась, на дне пропасти лежит... Половина восьмого. Звонят к обеду. Если просто на часы не смотрит, бромусь, заору, на куски разорву. Но без четверти восемь она тут, как ни в чем не бывало. От радости, не могу ее бранить. Плачу. "Мама, но почему ж ты мне не сказала, что вернешься к обеду? Возвращалась бы хоть в десять. Мне ведь совершенно все равно. Только знать я должен!. Я ведь думал..." И все-таки новторялось то же самое и тут, в Тараспе,

и не в Тараспе. Должно быть я потому, за всю мою жизнь, ни разу никуда не опоздал; ни разу не опоздал даже на самые неприятные свиданья.

Словно черное облачко солнце прикрыло на миг. Исчезло. Солнечно в Тараспе мне жилось. И мед был там, как нигде - высоких альпийских лугов; и молоко (я его не любил) с пятнышками жира, как бульон; и масло непохожее на масло: темно-желтое очень вкусное. Недалеко оттуда,и на той же высоте, Давос; но в Тараспе чахоточных нет, да и вообще ничего нет, кроме рощ и лугов, и венца скалистых или снегом покрытых вершин, и внушительной толстостенной постройки: санаторий-курзал-гостиница. Ради воздуха сюда приезжали - целебного, что́ и говорить; и для похуденья. Мама каждое утро высиживала полчаса в деревянной будке, угле-калильными лампочками усеянной изнутри, после чего, паром надутая (мне казалось) и красная, возвращалась в свой номер, банный халат не снимая ложилась на кровать и долго не могла, после электрического своего пекла опомниться и отдышаться.

Медицина, здесь, и вообще была свирепа. Старший врач похожий на кавалериста (в чинах, и не швейцарского, а прусского) строго следил во время трапез за тем, чтобы его пациенты и гости - мы все - не меньше сорока раз пережевывали кусок мяса и не меньше тридцати все прочее, попадавшее нам под зуб, а мое воспаленное горло с таким остервенением мазал кистью, пропитанной йодом, что я каждый раз корчился от боли и не мог подавить из живота идущего злобного мычания. Но все остальное было сплошь очарованье. Просыпаться было радостно, дышать отрадно, глядеть, куда ни глянешь, хорошо; по тропинкам лазать вверх или сбегать вниз, и весело, и занятно. Одним словом, остался бы я, жил бы в Тараспе и нынче, если б мыслимо было шесть десятилетий пробыть в этом блаженном бытии. Ведь уже и прибыли мы сюда иначе и лучше, чем во все другие, пусть и столь же поднебесные обители: на почтовых - подумать только! - в двенадцатиместном допотопном рыдване, запряженном шестеркой лошадей. В переднем кузове я сидел, рядом с возницей; тут, на снежных перевалах свою ангину и схватил. Да что ангина! Дюжину их в горло бы себе я посадил, чтобы туда и в девятьсот восьмой год вернуться...

Но и честь надо знать. Недели три прошло, и расстались мы с доктором, который на прощанье меня похвалил, сказав, однако, моей матери ein Bisschen Reitpeitsche wird dem Jungen auch nicht schaden, и отправились, не помню каким, но не рыдванным, - обычным, а значит и более скучным путем, сперва в Давос, на один день, затем в Санкт-Мо́ритц или Сен-Мори́с, откуда до глетчера, всеми осматриваемого (и нами осмотренного чуть ли не на следующее утро) рукой подать, и где мы обрели нового знакомого, не только русского, но и куда более русского, чем мы, - приставшего к нам, как банный лист, и в слезах (ей-Богу) провожавшего нас, когда мы через неделю уезжали в Интерлакен.

Средних лет это был и купеческого звания москвич, ни слова не понимавший ни на каком языке, кроме своего, да и на маасковском объяснявшийся как-то не совсем членораздельно. До нас, разговаривал он исключительно кошельком, который тощ у него не был, вследствие чего и сыт он был, и под пуховой периной спал, и горло у него отнюдь не пересыхало; но душу-то, душу отвести, - ведь в зеркало глядя не отведешь! "Матушка Ольга Александровна, - говорил он на второй день, - ах внутри-то у меня все вверх дном перевернулось, когда я услышал, что сынок-то ваш мамой по-русски вас зовет". А на третий, сели мы в нанятое им, богатейшее с красными колесами ландо́ (или ла́ндо, ежели его послушать), все трое во всем одинаковые, кроме размеров, - оттого что облеклись мы в пыльники, до пят длиной, и даже капюшонами снабженные, дабы пыль в глаза не лезла и ноздрей не щекотала, - и отправились объезжать губернию, как выражался наш Тит Титыч. Не помню, как его звали, да и совсем он из памяти моей исчез, с того момента, как тронулась коляска и до того, как я глядел, уже из окна вагона, на его мятую шляпу и заплаканное лицо. Энгадин его вытеснил. Энгадин - в общих чертах, конечно, - до сих пор я помню, хоть и не довелось мне больше там ни разу побывать.

Ни книг Ницше, ни его имени я еще не знал; но когда узнал и о жизни его кое-что прочел, то, что понимать я начал в его мысли и судьбе, навсегда с образом этой вознесенной к небу долины слилось, а все другое, что в писаниях его -

гораздо позже - меня пленило или оттолкнуло, как-то "осталось не у дел", было узнано, не было воспринято. Колеса до половины утопали в пыли, но капюшона я, конечно, не надевал. Ярким днем, но не жарким, на полумонблановой почти высоте, вдоль светлых маленьких озер, до самой Понтеббы, мы ехали (как впоследствии меня осенило) по его местам. И память моя, с тех пор, так с мыслью о нем сошлась, что, в отдельности, ровно ничего я не помню, кроме Понтеббы, - да и не местечко это помню, а то как я оставил Тит Титыча и маму на террасе гостиницы или кафе и стал, по тропинке и без нее, меж скал, хватаясь за кусты, спускаться дальше вниз, к итальянской границе, покуда сверху не окликнули меня и не позвали назад. Ницше тут был не при чем. Не предчувствием ли это было влюбленности моей в Италию?

Жизнь в Интерлакене тоже была хороша, хоть и было в ней чуть меньше того, что я назвал бы теперь поэзией. Блистала Юнгфрау вечными снегами. Прогулки с мамой туда, в ее сторону, доставляли нам обоим ежедневно обновлявшиеся радости. К сожалению, в гостинице кормили гостей на редкость вкусно и щедро; спаржи такой толщины я еще не видывал; яблочные торты объяденье были, да и только. Усердной ходьбой мама нагуливала себе аппетит. Стоило отмахивать по двадцать верст в день! Стоило пытке подвергаться в потогонном чулане! Сам-то я ел за двоих и был тощ, но ее обижать вниманием к съедаемому ею не решался. Да и знал: все равно пойдут в Райволе блинчики да морковные пироги...

Нет, я тут не скучал. С проседью владелец табачной лавки в Берлине и его жена часто гуляли с нами; жена шла рядом с мамой, а он, неизменно, со мной. У него были взрослые сыновья, но со мной, даже еще не подростком, беседовал он как с младшим другом,и приветливо, и очень умело. Много знал о камнях, о растениях, о птицах в лесу. Занимал меня (и по-видимому, себя); ничему не учил; но многому я от него научился. И еще жила в нашей гостинице жена киевского профессора Бубнова, кладезя редкостных знаний: он был историком математики. Получил я в подарок книгу его с надписью "от жены автора", но не то что книга, а уже и заглавие ее не вразумляло меня никак в 1908-ом году. Зато нечто рассказанное милой

этой дамой помню по сей день. Был это рассказ не просто о том, как она тонула, упав с палубы парохода в Черное море. Это был рассказ о том, как она утонула. Билась, боролась, потом уступила, отдалась. "И как мне стало хорошо! Какая это блаженная была минута!"

Так что не всегда взрослые говорят с детьми сплошь о сплошной ерунде.

С тросточкой и в крахмальном воротнике

ФОТОГРАФ Е. КУКУЛЕВИЧ. Удостоен награды ЕГО ВЫСОЧЕСТВА эмира Бухарского. Ялта. Набережная, рядом с гостиницей РОССИЯ. Виды Крыма. НЕГАТИВЫ СОХРАНЯЮТСЯ.

И ширококрылый орел, над буквой Е, держит в клюве медаль с изображением г-на Дагера, а вверху - еще три медали с профилями его же, Ньепса и Тальбота на лицевой и их именами, в венцах, на обратной стороне. (Кто такой Тальбот, или м.б. Толбот, не знаю до сих пор).

И еще сообщено, что выполняется "всевозможн. художественн. увеличение портретов". Нет, нет, увеличивать не надо. Переворачиваю картон. На фоне волн и облаков ("каких же вы хотите фонов в моем ателье, раз, выглянув в окно, вы увидите то же самое?") расположились, приспособив для этого искусственные камни, дама, лет тридцати пяти на вид (вполне годилась бы мне в дочери) и - не то мальчик, не то подросток-недоросток (внук мой, значит), но одетый совсем по-взрослому. В темном он во всем; левую ногу, обутую в шнурованный башмак изрядных размеров, на камень уперев, сидит, отчетливо выделяясь на белом платье дамы, стоящей позади него, - белом платье с длинными рукавами, швейцарским кружевом отделанном, и с брошью на прикрывающем шею кружевном воротничке. Полновата она, стянута, по-видимому, корсетом. Черты лица - мелкие, но приятные; прическа - простая: подъездом вверх; правая рука - на плече сынка; левой держит мягкую фетровую шляпу с темной лентой. Все это, хоть и старомодно, не так уж смешно, потому что без претензий. Но юнец...

Аккуратно причесан, с пробором на левой стороне; лицом мальчик, да и только, но с меланхолическим взглядом, и одет совсем как петербургский господин. При галстуке он, тщательно завязанном, и в белой рубашке с крахмальным воротником и такими же манжетами, выглядывающими из-под рукавов. Руки его - ах ты Боже мой ! - в перчатках, и держат - одна трость с набалдашником из черненого серебра, а другая широкополую светлую шляпу, очень похожую на шляпу его матери.

Совершенно мне эти двое незнакомы. Повстречай я их на улице, в тогдашней или нынешней одежде, я бы их имен не знал. Есть, однако, две косвенные улики, которых следствие не может обойти. Фотография хранится не у кого-нибудь, а у меня; и трость (кизилового дерева) отдаленно мне знакома. Больше того, я твердо знаю, что галстук ряженого недоросля - голубого цвета, и помню, что на ощупь он был шершавый, хоть и не плотный. Кажется, материя такая называлась фай.

Так что мама это и я, в Ялте, где мы пасхальные две недели провели (чуть ли не в этой самой гостинице "Россия") весной 1909-го года, через год без малого, после Швейцарии. Мне четырнадцать лет; а что господинчиком я выряжен, тогда это как раз и началось, а продолжалось долго. В Москве таких молодчиков звали (это я от Ходасевича узнал) "фрицы из заграницы"; у нас их было так много, что и прозвища у них не было. Таков был и я. Едва школу окончил, - в котелке ходил; кашне у меня было белое и пальто с бархатным воротником. Визитку у Калина́ мне заказали, когда исполнилось мне осьмнадцать лет. Одним словом из "энглизэ с гаврилкой" (как стали выражаться после Октября) не вылезал. Зашел однажды в магазин против Гостиного Двора, называвшийся "Жокей Клуб", и купил себе там такой роскошный, лиловый с золотистыми разводами почти что парчевый галстук, что вернувшись домой, повязал его перед зеркалом в ванной комнате, - и вдруг понял: сорокалетнего не сделал бы он смешным, но меня... Больше я его не надевал.

Около того же времени, шел я с кем-то по Невскому, возле самого Полицейского моста, и вижу, идут к нам навстречу, в сторону Адмиралтейства, двое, друг на друга похожие, студенческого возраста, но оба в совершенно роскошных, лучшей английской материи, костюмах, в светло-кофейных котелках на голове, пальцы в кольцах, трости с золотыми ободками и ручками не то из янтаря, не то из китайской яшмы. Вот так фрицы из заграницы, сказал бы я, если бы родился в Москве. Ничуть не бывало. Спутник мой мне шепнул: это братья Елисеевы.

Женичкина смерть

В просторной нашей прихожей, на даче, с дверьми наверх, на кухню, в уборную, на "балкон" (застекленную террасу), в столовую и в отцовский кабинет, зазвонил телефон, - громоздкое, наполовину из дерева, сооружение с велосипедным звонком вверху. Было часов одиннадцать. Я спускался по лестнице, заторопился, но из кабинета уже вышел отец, снял трубку. Кто-то говорил, отрывисто четко; он молчал. Когда я, обойдя его спину и телефон, заглянул ему в лицо, только что мною виденное за утренним кофе, оно показалось мне усталым и постаревшим. Он передал мне трубку и сказал: - Женя умерла.

Я услышал неузнаваемый и все-таки узнанный мною голос Кати, девочки лет тринадцати, на три года меня моложе. "Да, там на кумысе. Тетя Миля и я привезли ее тело в Петербург. Похороны завтра, в Реформатской церкви. Не спрашивай меня ни о чем. Прощай".

Катя не была дочкой; она была воспитанницей Женички. Детей у моей двоюродной сестры и крестной матери не было. Муж ее, друг детства, тот самый, что броненосцы и пушки мне дарил, не только не пожелал иметь от нее детей, но и заразил ее (об этом сплетничали позже) дурной болезнью. Несмотря на экстравагантности костюма - зеленые и красные жилеты, пробковый шлем в жаркие дни, набалдашники тростей с сюрпризами: повернешь направо - рюмка коньяку; повернешь налево - голая плясунья, задирающая ногу; несмотря даже и на пристрастие к штучкам, покупавшимся в полуподвальных лавочках на Фридрихштрассе, в Берлине - положишь такую под салфетку своему vis-à-vis , а надутую воздухом грушу держишь в руке; когда нальют ему суп в тарелку, нажмешь грушу, и тарелка начнет плясать, а суп разливаться; - несмотря, говорю, на все это, был он человек более чем заурядный; а Женичка не совсем.

Немножко уродинка она была, "обезьянка", как говорили о ней близкие (но всегда ласково). Темноволосая, тоненькая, живая, кокетливая, превосходно умевшая одеваться, она многим нравилась, а приязнь внушала еще бо́льшему числу людей. Кокетничала даже со своим крестником, не всерьез, конечно, и все-таки женственно, если и не по-женски; баловала его милым

вниманием, и крестник очень ее любил. Горе ее матери, когда она умерла, было уничтожающим и бессрочным. Никого у нее больше не было. Сын ее, Воля, мой тезка, дома бывал редко, и редко писал из далеких краев. Стал моряком Добровольного флота, потому что ничем другим стать не сумел. Обзаводился экзотическими женами, выпивал, был грубоват, но ко мне благоволил, катал меня на парусной лодке по разливу и научил бы меня даже, если б не моя бездарность, управлять парусами. Но свиданья назначать приходилось мне ему у Красного моста или за калиткой нашего сада; к ручке этой калитки он бы не притронулся: мой отец, по непонятным для меня причинам, терпеть его не мог, и вход ему к нам был строго воспрещен

Итак, тетя Миля осталась в вечном трауре, но Катя от Женичкиной смерти пострадала еще больше. Она была, если не ошибаюсь, дочерью прачки, - и прохожего молодца, который в счет не шел; Ивановна была, была Иванова. Женя взяла ее на воспитание пятилетним прехорошеньким ребенком, полюбила как родную, холила и лелеяла ее до чрезмерности, ленточки в золотистых ее локонах меняла по три раза в день, но удочерить по-настоящему не удосужилась за восемь лет (может быть из-за сопротивления мужа). Изредка появлялась мать, или Катю отправляли ее проведать, что́ было и глупо, и жестоко, а когда кончилась Женичка двадцати восьми лет от роду, на кумысе, от туберкулеза почек, Катя осиротела полностью и навсегда. Случилось нечто казавшееся мне еще менее объяснимым, чем свирепство моего отца по отношению к его племяннику. Тетя Миля, вместо того, чтобы перенести на Катю любовь свою к дочери, стала к ней проявлять сухость и холодность, решительно ничем не оправданную. Летом продолжала давать ей пристанище у себя на даче (где жила круглый год) и зимой ее брала на Масленицу, на Рождество; в остальное же время так себя вела, как будто девочки и на свете не было. Катя училась в Патриотическом институте (приюте, скорей, чем институте), и училась очень хорошо; но никто ее успехами не интересовался, она была предоставлена самой себе. А вскоре случилось нечто, менее странное, быть может, но еще более возмутительное, чему

виновником, увы, был мой отец.

Подросши, Катюша стала девушкой очень миловидной, курносенькой немножко, полнощекой и большеногой, но сложенья самого отменного и немалой прелести лица. Дружны мы с ней были очень, и целовать мне ее хотелось сильно, но не позволяла она мне никаких поцелуев, и руки ее были сильней моих, так что беспорядочные порывы чувств с моей стороны неукоснительно и быстро усмирялись. Любила она меня во много раз больше, чем я ее любил, - это я чувствовал отлично. Характер у нее, однако, был стальной, и если я всесилен был над ней, то лишь до того поцелуйного предела. Когда она кончила свой институт и пожелала поступить на Бестужевские курсы, я ее в одно лето выучил латинскому языку, задавая ей десятистраничные уроки и небрежно говоря "если не осилишь всего, достаточно будет половины или четверти". Выучивалось все, память ее была превосходна; она знала наизусть всего "Онегина". Я бы мог выучить ее тому, чего и сам не знал. Но тут-то как раз отвратительное и произошло: отец мой вообразил, что Катичка (или Катюха, как я ее звал, когда хотел ее подразнить) хочет женить меня на себе, и не из любви, а для приобретения капитала. Ничего подобного в мыслях у нее не было: она была девушкой гордой, открытой и честной. Много лет мои родители любили и баловали ее, ради Женички, и просто так, потому что девочка и девушка эта была мила, и с их сыном ладила прекрасно. И она моих родителей любила; отца моего даже как будто больше матери. А теперь начались какие-то жесткости, сухости, быть может и намеки; она стала реже у нас бывать. Я тут поделать не мог ничего, и был к тому же, как говорится, занят на стороне, то есть влюблен - не в Катю.

И несчастно и глупо все это сложилось для нее, а может быть и для меня. Ничего хорошего и о себе сказать не могу. Не прочь был бы я и теперь украсть ее ласку, если б она так твердо - и с такою, конечно, болью - не уберегалась от меня. Но возвращусь к тому, с чего все скверное для нее началось.

Мы хоронили Женичку. Катя не плакала: она окаменела; едва ли я в жизни испытал боль такой силы, как та, что пронизала ее всю - ведь девочку еще - до кончиков ногтей, до мельчайшего кровеносного сосуда. Женичка ее любила, но Катя

отвечала этой не-матери любовью, которой хватило бы на десять матерей. При ней была до последнего мига, закрыла ей глаза, позаботилась обо всем; именно она привезла ее мертвое тело в гробу и ее мать, утратившую всякую волю к чему бы то ни было, назад в Петербург; трое суток были они в дороге. Теперь стояла она, еще не выросшая, мне по плечо, прямая, как свеча, и с круглого личика ее исчез навсегда кукольный румянец.

Реформатская кирка у слияния Мойки и Морской, безжизненна и скучна. Ничего, что кирпичная, но и поддельная это готика. Крипта, где стоял гроб, еще мертвенней была, чем она сама. Было много народу: все поклонники, родственники, знакомые. "Убитый горем" муж, не в красном жилете на этот раз, вид являл сосредоточенный и напряженный. Закрытый гроб на катафалке, совсем как в газетах пишут, "утопал в цветах". Превеликое множество было венков всех размеров, и целые пуки - был июль - на холодных квадратах пола - как в ванной или уборной - лилий, - белых, белых лилий, - роз и гвоздик. Протестантское нечто взамен панихиды так прохладно сравнительно с нею... Но в подземелье было душно; от людей, от цветов, от жаркого дня, просившегося в дверь. И к духу лилий примешивался другой, чуть слышный, тоненький, но непереносимый. Совершенно неожиданно для себя, я упал, потеряв сознание.

От горя, от любви к Женичке, от сочувствия Кате, горе которой понимал насквозь? Нет. Но когда очутились мы на кладбище - кажется Смоленском - у ее могилы, и медные трубы запели - есть у них, у реформатов и лютеран такой обычай, - тут я вспомнил обезьянку-Женичку, и не в обморок упал, а залился слезами. Пела, пела - валторна, должно быть; даже у того "убитого горем" слезы потекли по жирным щекам. Я стал на колени, и уже никого не видел, ни родителей своих, ни тетку, черным покрытую с головы до ног, ни Катю, даже не знаю близко или далеко стояла она от меня; Женичку-обезьянку оплакивал, плакал и плакал; еще вечером, дома, успокоиться не мог. Родители мои сами были огорчены, особенно отец, но моему горю удивлялись. Я и сам удивлялся. Но ведь и не было еще такого. Дедушка, бабушка, - маленький был я, едва их знал. Позже меня не было ни возле отца, ни

возле матери, когда они умирали. У Кати не могло быть в жизни страшнее потери. А мне Женичка первая и лучше других показала, чтó такое - взять совок и землю бросить туда, на доску, прикрывшую милое, улыбавшееся тебе лицо.

Родственники, знакомые...

Много их было, родственников; особенно с материнской стороны; но кроме одного, - речь о нем впереди, - прескучные были это люди. С отцовской, был один (свойственник, собственно) совершеннейший оболтус, Федор Федорович Бюлер, носивший очень высокие крахмальные воротники, даровавшие ему тик, - гримасу рта и движенье шеи, точно воротник его душил. Золотистый был он и завитой пухлый блондин; черномазая жена, армянской крови, командовала им энергично и стремительно. Лысого их сынка видел я только раз. Облысел двенадцатилетний мальчик не по своей вине. Волосы его были, правда, редковаты от рожденья, но искать помощи малой этой беде у шарлатана и возить Фединьку в Милан было, во всяком случае, незачем. Шарлатан засунул его голову в какой-то "электрический" (радиоактивный, вероятно) шлем, после чего все мирно вернулись в гостиницу, пообедали и легли спать, а наутро Фединькины волосы лежали на подушке, череп же его был гол, как яйцо.

С отцовскими покончу я теперь сразу, пусть и не родственниками, а знакомыми. Всего лучше мне запомнился тот, кого я видел всего реже; в доме у нас он и вовсе не бывал. Португальская (?) его фамилия, Риц-а-Порто, не мешала ему быть швейцарским гражданином и отлично объясняться на русском языке. Был он урод, каких мало, и одевался тем наряднее. Лет восьми от роду, встретил я его на Невском, на том же роковом тротуаре у магазина Мейе, против Строгановского дворца, где, спустя десять лет, шли мне навстречу братья Елисеевы. Я узнал его, снял шапку левой рукой, а правой осенил себя крестным знамением. Швейцарского гражданина передернуло немножко, и через неделю, встретив в клубе моего отца, он ему сказал: - "Ваш сын принимает меня за черта". На самом деле, я его принял скорее за Казанский собор: очень рассеян был в дошкольном возрасте.

Товарищем отца, по Коммерческому училищу, был часовщик с Большой Конюшенной, Егор Иванович Эбенау. Молчаливый, большелицый и скромный этот человек изредка у нас завтракал или обедал, тут-то и проявляя свои единственные две особенности: от редиски он съедал только зелень, а швейцарский сыр лишь

коркою его пленял. В остальном, интереснее оказался человек на много моложе, которого мы с мамой совсем не знали, да и не отцовский друг, а приказчик от Шаскольского (Депо́ Аптекарских Товаров, по другой стороне Невского, наискосок от нашей улицы). Отец мой питал к нему симпатию и одолжил ему перед его женитьбой небольшую сумму денег. Деньги были отданы, но молодожен решил, что ему следует лично поблагодарить отца, а так как время было летнее, он поехал к нам на дачу. Отец мой, в тот день, оказался как раз в городе, так что завтраком кормила гостя моя мать, которой он церемонно поднес букет цветов, привезенный из Петербурга. Гость был застенчив, изъяснялся сплошными комплиментами, и любезность его достигла апогея, когда мама, после завтрака, показывала ему, при моем участии, дачу. Наступив на хвост пуделю моему Бобке, он вскрикнул от ужаса, а затем расшаркнулся и вымолвил: pardon, Madame.

К тому времени уж скончался коллега (отчасти) галантного этого гостя, брат моей матери, Леонид, аптекарь, человек добрый и почтенный, но doneдший в последние годы вдовой своей жизни до пятидесяти бутылок пива в день. Другой мой дядя, Александр, служил в секретариате Государственной Думы, слишком много ел, был толст, страдал одышкой и породил трех сыновей, бывавших у нас раз в год, в день моего рожденья. Один из них мастерски изображал японца, читающего афишу (справа налево и снизу вверх) и, тоже со спины, французскую борьбу, причем боролся он с собой и клал себя на обе лопатки столь искусно, что даже без особого усилия воображения, можно было принять его за двоих и аплодировать в одном лице кладущему и положенному на лопатки. Единственная сестра моей матери, Раиса Александровна, была лет на двадцать пять старше ее, а муж ее и вовсе стариком, полоумным к тому же и ревновавшим жену к собственным ее сыновьям. Он подкладывал пробки под дверь спальной, дабы убедиться, что шестидесятилетняя мать его детей не покидает супружеское ложе, с намереньем разделить сыновнее. О дочери ее, Соне, Сонином муже и детях отложу рассказ. Чтобы о них писать, надо перечесть мармеладовские страницы Достоевского; тогда как о знакомых, в равной мере маминых и папиных, можно повествование продолжать, не меняя тона.

- Инженер Панталонов! - докладывала горничная моей матери, принимавшей гостей к чаю по средам. На самом деле, звали этого молодого архитектора Фанталов. Он окончил Институт гражданских инженеров, но строить дома не любил - ("черт его знает, на голову рухнет, чего доброго"); предпочитал "заниматься внутренней декорацией", но и она его не занимала. Монтекарло, вот чем он жил! Денег у него не было; зато было непонятное количество тетушек и дядюшек, регулярно умиравших и оставлявших ему наследство, не роскошное, но и не ничтожное. Он тотчас брал билет первого класса, бойко проигрывал весь привезенный капитал и покидал лазурные берега, получив билет третьего класса от рулеточного начальства, которое, ради сокращения числа самоубийств, оплачивало неудачливым игрокам возвращение на родину. Имена их, однако, заносились в соответственный регистр, и не вернув стоимости билета, нельзя было возвратиться к зеленому столу. Инженер Фанталов получал новое наследство, брал билет первого класса, ехал в Монтекарло, возвращал стоимость билета третьего класса, приступал к игре и возвращался домой на казенный счет. Так могло продолжаться долго, если бы он, женившись, не отрекся от рулетки и не исчез с нашего горизонта, словно никогда, по средам, у мамы и не бывал. Самовар кипел, мама споласкивала чашку, вытирала ее кружевным полотенцем, предлагала гостю или гостье налить вторую, но, увы, инженера Фанталова уже не было за ее столом.

Зато явился однажды, часов уже в шесть, и почему-то в смокинге, совершенно неожиданный посетитель, по фамилии Кушнер, о существовании которого мама и не подозревала до тех пор. Был он, кажется, биржевой маклер, и ошибся днем: пришел в среду вместо четверга. Отца не было. Мама предложила ему на выбор - чай или кофе. Он выбрал кофе. Принесли только что купленный кофейник новейшего образца, свистком оповещавший, что вода вскипела и что кофе можно наливать. Зажгли спиртовку, гость занимал хозяйку самым что́ ни на есть светским разговором, как вдруг свисток свистнул, а кофейник лопнул, и бо́льшая часть его содержимого оказалась на крахмальной груди г. Кушнера. Были фуфайки, вероятно две

или три; сильного ожога он не получил. Выкрикивал извинения, прыгал с двумя салфетками в руках, на одной ноге. Замешательство получилось всеобщее, - напоминавшее даже издалека финальную сцену "Ревизора".

Взрослые и дети

Были взрослые приемлемые; были и совсем хорошие. Морского врача в белом кителе, Александра Павловича, очень я любил. Полюбил сразу и нового нашего, или точней тетимилиного соседа, Виктора Петровича Барановского, молодого отца трех маленьких дочерей. Был он владелец завода, большого богатства человек, которому богатство было не к лицу, что он и сам, по-видимому, чувствовал. Очень хорош был собой - в русской рубахе (которую летом всегда и носил), в пиджаке нелеп, во фраке ужасен. Капиталом своим - я в том убежден - не утешен, а сам себе противен. Однажды, вскоре после покупки им дачи в Райволе, мы пошли к нему в гости, отец со мной; в "крымском" был я тогда возрасте, но, слава Тебе, Господи, без перчаток. Он угостил нас красным вином - бордо; выписывал его бочками из Бордо. Выпил я стаканчик, еще стаканчик; принял живое участие в разговоре, тем более, что Виктор Петрович говорил не с одним отцом, но и со мной. Когда мы собрались, однако, встать и уйти - ай! - встать я не мог: бордо, как говорится, ударило мне в ноги. Пришлось посидеть еще полчасика. Пришла девочка, Милочка, с двумя косичками, ангельского вида. Мамка принесла двойняшек: на одной руке несла беленькую Ирочку, на другой - смугленькую, Таму. По году им было, а Милочке пять. Семь лет спустя, когда я вздумал жениться, отец мой всерьез возражать не стал, но выразил сожаление о том, что я тороплюсь: рано собрался, подождал бы; Милочка подрастет, лучше жены себе не найдешь. Он был прав. Так и случилось. Я на ней женился. Но позже, гораздо позже. Он до этого не дотянул.

И еще были хорошие взрослые: Похитонов, Даниил Ильич, милостью Божией музыкант; Марианна Борисовна Черкасская, тоже из Мариинского театра, дивный голос которой, в самую глубь грудной клетки, в диафрагму поставленный, и в разговоре порой звучал; Александра Федоровна Сазонова, подруга ее; - дойдет очередь и до них. Но дети Сазоновой, дети Черкасской были, как никак, еще занятней матерей, а Похитонов, в тридцать пять лет, мог, по легкому и веселому нраву, за двадцатилетнего сойти, и любили мы его, юнцы и сверстницы наши, как

если бы и он был нам ровесником. Даже и один пожилой взрослый, часто летом у нас бывавший, книги мне даривший, внушал мне странную какую-то, снисходительную симпатию.

Петр Денисович Кедров, пятидесятилетний холостяк, служил в Управлении Казачьих Войск, но ни о каких войсках или казаќах мы от него ни слова не слыхали. Пахло от него сигарой и какими-то неприятными вялыми духами. Винтёр был первоклассный. Любил сыр (но вырезал его полукругом, за что ему попадало от моего отца), бенедиктин и рыбную ловлю, - так просто, стоя часами с удочкой в беседке, вылавливать плотву или окунька, - а также шептать дамам на ушко непристойности, после бенедиктина. Собирал книги. Порнографические держал под замком. Среди других, на открытых полках, были и вовсе не плохие. При поступлении в университет, получил я от него в подарок полезнейший фолиант: Форчеллини, Totius Latinitatis Lexicon, а задолго до того идиотскую немецкую книжку, дневник Колумба, оброненный им на дно морское, вследствие чего покоробился он, посинел, весь оброс - на ощупь явными - ракушками и кораллами. Также были у него книжки, помещавшиеся в жилетном кармане и которые без лупы невозможно было прочесть. Чуть ли не и "Евгений Онегин" был у него такой же, - конечно не для чтения.

Раз, и только раз, обедал я у него - в переулке возле Бассейной - с мамой. Обед был на славу; кухарку он держал отличную. После дессерта, мама пошла на кухню, чтобы ее похвалить. Кухарка, в ответ, разразилась слезами, целовала маму в плечо, и перекрестившись перед образом в углу, промолвила: ведь это в первый раз у нехристя, барина моего, обедает настоящая замужняя барыня, а шлюхам готовить, какая может быть радость? В столовой, Петр Денисович рассказал нам, что после недавнего "галантного", как он выразился, вечера наедине avec une charmante femme du demi-monde, он утром, невзначай, вернулся со службы домой, и застал у себя священника, приглашенного кухаркой, кадившего на все четыре стороны и окроплявшего стены освященною водой. Был отслужен, по всем правилам, очистительный молебен. Бесы любодеяния были изгнаны. "Мне оставалось только раскланяться и ретироваться".

А дети? Как с ними быть? Тут не пошутишь. Их-то как раз и следует принимать всерьез. Сын жившей летом в полуверсте от

нас Марианны Борисовны, Алеша, часто приходил к нам один или с маленькой сестричкой своей, Марусей. Нравилось ему почему-то у нас бывать. Мальчик он был своевольный немного, но умный и милый. Моя мать, любившая его, ему сказала: знаешь, Алеша, если тебе у нас хорошо, переезжай к нам совсем. На следующее утро Алеша пришел один, с чемоданчиком, и расположился в одной из комнат для приезжих, второго этажа. В полдень, раскрасневшись от быстрой ходьбы, явилась его мать и позвала его великолепным своим голосом на чистой и глубокой ноте. Он выглянул с северного балкона, над застекленною террасой. - Я тут. - Идем домой. - Нет. Тетя Оля меня пригласила. Я переехал к ней. - Глупости! Идем! - Зачем? Я же теперь живу здесь. - Иди, иди! - Не хочу, и не пойду. Спроси тетю Олю. Она знает. Я сказал правду.

Пришлось вмешаться моей матери, говорить, что она пошутила, что надо идти к маме, домой. - Ах, ты пошутила. Ты меня не звала? Он ушел, с чемоданчиком, и две недели не заглядывал к нам. Обиделся надолго, а может быть, где-то в глубине, и навсегда.

Его сестричка была самая прелестная маленькая девочка, какую я когда-либо видел в жизни. У нее были редкостного оттенка и сиянья голубые глаза ее матери, шелковистые чудные волосы, поразительная нежность всех очертаний и движений. В четырнадцать-пятнадцать лет я очень любил маленьких детей; ее больше всех. И она мне благоволила. Шуру, приятеля моего, чуждалась: он был толстый, все равно что взрослый. Показала раз пальчиком, как у него часовая цепочка по жилету протянута из кармана в карман, и сказала презрительно: дядя! Я у нее сходил за мальчика. Постепенно я так привязался к ней, как будто она не только Алешина была сестра, но и младшая моя. Раз я отвозил их на лодке к их берегу, и, причаливая, накренил лодку слишком сильно. Мы все трое оказались в воде. Марусенька не испугалась нисколько; смешно ей было как я, сам вымокший, ее, мокрую, принес Марианне Борисовне на руках.

Всего через месяц после этого она заболела дифтеритом; прививки во-время не сделали. Она умерла на третий день. Я ее не забыл. Не забуду никогда. Ее смерть была для меня горем, не меньшим, чем кончина Женички.

Внебрачная семья Ф.Н.Дроздова

Инженер путей сообщения Филарет Николаевич Дроздов редким именем своим был наречен в честь митрополита Филарета, которому приходился внучатным племянником. Ничего митрополичьего, кроме средних размеров брюшка, в облике его не было. Когда я впервые его увидал, было мне лет четырнадцать, а ему лет пятьдесят. Бодрости не был он лишен, говорил быстро и громко, но невнятно и не очень интересно. Играл на рояле с уменьем близким к профессиональному, но бравурно, даже когда Шопен или Шуман вовсе такого исполнения не оправдывал. Имелась у него в Петербурге жена и двое взрослых сыновей, но мы эту жену и этих сыновей не знали, да и его видели только на даче, в Райволе, куда он по нескольку раз каждое лето приезжал, здешнюю жену свою навещать и пакетики, розовой ленточкой перевязанные вручать здешним своим сыновьям, еще малолетним. Один из них, Павлик, был мой крестник. Володя, на три года старше, был любимцем моего отца. Ежегодно проводили они лето с матерью своей, Александрой Федоровной Сазоновой, в петушкового стиля даче Рымашевских, против нашей - дорогу перейти - и каждый день приходили к нам. Мы бывали и зимой, в Петербурге, у Александры Федоровны, и она бывала у нас. Но Филарет Николаевич - "отец моих детей", как Шуфочка при случае выражалась - неизменно исчезал из нашего кругозора до следующего лета. Исчезни так же, инженер, из рассказа моего!

Шуфочкой называли мать этих детей, когда их еще не было, товарищи ее по Мариинскому театру, и Марианна Борисовна Черкасская продолжала так ее называть и теперь. У нее (говорят) было приятное меццо-сопрано, чуточку только слишком слабое для оперного пения. Чтобы делу помочь, обратилась она к специалисту по голосовым связкам; хирург этот ее оперировал, и голос (пригодный для пения) совсем у нее пропал. Ей пришлось покинуть сцену, после чего единственным источником дохода для нее и оказалась квази-супружеская любовь женатого человека, лет на пятнадцать ее старше, который так никогда мужем ее и не стал. К счастью для нее, большинство ее друзей были люди театра, не особенно усердствовавшие насчет различения законных браков и незаконных, или дачники, вроде нас, предрассудки свои припасавшие на́ зиму, чтобы забывать о них затем даже и

зимой. А держать она себя умела очень хорошо, и об "отце моих детей", в его отсутствии, почти не упоминала.

Мне Александра Федоровна, ни прежде, ни когда я подрос, никаких особенно сильных чувств не внушала (в отличие от моего отца, который, одно время, был ею довольно заметным образом увлечен). Я любовался на редкость красивыми ее руками, ее высоким ростом, плавной походкой, музыкально интонированной речью, уменьем одеваться к лицу и подкрашиваться с неизменным чувством меры, а также совсем незаметно подправлять небольшим паричком некоторую скудость темно-русых своих волос. Но вместе с тем и отталкивала меня в ней какая-то нарочитость, сделанность всего ее существа. Ее дети были мне милей, чем она; и больше, чем ее, полюбил я вскоре ее брата, именем которого назван был мой крестник, но который появился на даче Рымашевских, вместе с женой своей Клавдией, прозванною Кавой, когда его племяннику шел уже четвертый год.

"Полюбил", это, пожалуй, слишком сильно сказано; приязни, однако, не мог я не испытывать к человеку, который столь искусно выручил меня однажды из маленькой беды. Гости у нас ожидались к обеду, в Петербурге, а я сидел у себя в комнате и читал с большим увлечением не помню уж какую книгу. Когда позвали меня в гостиную, я был так ошарашен этим чтением, что, чмокнув ручку четырем или пяти дамам, чмокнул затем и руку Павла Федоровича. Он мгновенно все понял и сделал вид, что ничего необычного не произошло. Никто моего шестого кивка и движенья губ не заметил; никто на́ смех меня не поднял; это, если вам лет шестнадцать, не скоро исчезнет из вашей памяти. Шуфочкин брат и вообще был тактичен и учтив на удивленье. Загадкой навсегда для меня осталось, каким образом подцепил он в Сибири такую невозможную жену. Если же она его подцепила, то на какой – очень трудно было понять – крючок. Как он попал в Сибирь, это мне рассказали: не окончил Института Путей Сообщения, оттого что на экзаменах немел и не мог произнести ни слова, хоть и усваивал всю премудрость ничуть не хуже других. В Сибири он допущен был к работе путейца, без диплома, но и Каву там обрел, как обретают желтую лихорадку где-нибудь на Малайских островах. Смазлива она была, но вульгарна, глупа, и очень дурно от нее пахло. Никакие мыла́, мочалки и оде-

колоны не помогали; никакие втиранья, тогда известные. Играть с ней в теннис, по ту же сторону сетки, было сущее наказанье. Как мог он... В конце концов я пришел к довольно каверзному для юных лет моих заключенью, что именно зловоние это и приворожило столь опрятного и хорошо воспитанного тезку и дядю моего Павлика.

Моего? Так я чувствовал. Крестного сынка моего я и взаправду полюбил. Не тогда, конечно, когда над купелью держал краснокожее странное существо, казавшееся, покуда не закричит или глаз не раскроет, даже и предметом, скорей, чем существом. Глаза-то, впрочем, уже и тогда... Словом вырос Павлик мальчиком умным и прелестным, а любовь моя к нему всего ярче вспыхала в тот день, - именинный, кажется, но чей? - когда мы все пили шоколад на нижнем балконе дачи Рымашевских: мои родители, я, Александра Федоровна и ее дети, а также веснушатая и рыжая, из Воспитательного дома только что вылупившаяся их нянька, оттуда, нужно думать и вынесшая обычай, после каждого обеда, своей или чужой барыне говорить "спасибо за вкусный обед". Но теперь был не обед, а к шоколаду было подано много вкусного печенья, и Павлик - хвать рогульку с блюда, обмакнул ее в шоколад и отправил в рот. Мамаша прикрикнула на него, да так, что рогулькой он чуть не подавился. Покраснел, слезы выступили у него на глазах, но он не заплакал. Побледнел, стал на ноги, отодвинул табурет, и глядя в глаза матери весьма отчетливо сказал: "Вчера можно было, а при дяде Виле и тете Оле нельзя. Мама, ты - дура". "Что? Как ты смеешь!" Но Павлик убежал и больше не показывался в тот день. Нянюшка закрыла лицо руками. Володя на своем, слишком дроздовском (я всегда так думал), изобразил полнейшую непричастность. Мой отец, глядя в тарелку, слегка усмехнулся, мама потупила глаза, я тоже; молочного цвета щеки Александры Федоровны слегка порозовели под искусной косметикой. Кажется, и она поняла: Павлик был совершенно прав.

Нужно отдать ей справедливость: я узнал от мамы на следующий день, что Павлика она не наказала.

Пауза. Антракт.

В 1924-ом году, незадолго до моего отъезда, побывал я в Москве, куда переехала Александра Федоровна, и видел ее там в последний раз. Накрашена была она теперь до неузнаваемости.

Павлика не было дома, но Павлик только и оставался при ней. Володя хлопотал где-то вдалеке, о собственном преуспеяньи; Павлик был ее кормильцем. "Какой он хороший, вы себе и представить не можете", сказала она мне на прощанье, заплакала и крепко меня обняла.

Такие Павлики - не жильцы на свете. Туберкулез у него был. Да и без туберкулеза не долго бы он прожил: седьмой уже год шел после Октября.

Мармеладовы-Макаровы

У старшей сестры моей матери, Раисы, было два сына, из которых один так студентом-юристом лет восемь, а то и десять, до четырнадцатого года, все ждал и ждал того дня, когда "небо будет в алмазах", а другой молодым врачом добровольно поехал на чуму в Сибирь, заразился чумой и душу отдал Богу, поцеловав свою невесту в губы, сквозь вату, пропитанную сулемой. Но была у Раисы Александровны и дочь Соня, не той профессии, что́ в "Преступлении и Наказании", и замужняя, но в этом-то ее горе и подстерегло. Муж ее, Иван Макарович Макаров, был скромный чиновник и очень хороший человек; детей своих, Верочку и Колю, беззаветною (именно так, о той книге помня, следует тут выразиться) любил любовью; но страдал запоем - в среднем каждые два месяца - возвращался домой вечером в полубезумном виде, вооружался кочергой или железной ножкой, выломанной из кровати, бил жену и детей, выгонял их ночью на черную лестницу, учинял разгром стульев, столов и посуды, на утро приходил в себя, молил на коленях прощенья у Сони, у Коли, у Верочки, валялся у них в ногах, целовал их башмаки, а через два месяца происходило то же самое.

Подростали дети. Очаровательные были у него дети. Коля чудесный был мальчик, вдвое моложе меня, когда мне было двенадцать лет, а Верочка настоящей красавицей росла с темно-золотыми волосами и темно-карими глазами, на два года младше меня была, стала девушкой в двенадцать лет и внушила мне тогда, - хоть мила она мне, как и братец ее, была всегда, - первую вспышку, вполне сознательно распаленную ею, того, что уже не любовью надлежит именовать, а похотью. Но не о похоти придется вести мне речь, даже если б захотел я говорить о ней, и не о любви; о смерти, только о смерти.

Когда Коле было шесть лет, сняла его мать, с помощью моей матери, дачку недалеко от нас, через Красный мост, у Казанцевых, на берегу разлива. Я играл с Верочкой в крокет, а с Колей в совсем уж младенческие игры. Но среди лета он вдруг заболел, - так, чем-то вроде привычных мне в эти годы ангин, с весьма высокой, однако, температурой. Он лежал, пышащий жаром, раскрасневшийся, в детской своей кровати с

сеткой, и не бредил, а смотрел на меня ласково своими большими синими, как мои собственные, глазами. Я дал ему серебряные мои часики от Павла Буре; он держал их в горячей своей ручке, подносил к уху, слушал тонкое их тиканье. Ждали доктора. Уходя, поцеловал я Колин горячий лоб и часики ему оставил. Врача в Райволе не нашли; вызванный из Кивинеппа приехал слишком поздно; нужна была бы немедленная операция. К ночи, Колино горло угрожающе распухло. Он задохся под утро, держа в руке мои часики.

Я берёг их потом долго. Их потерял в Париже мой сын. Этих детей, проглоченных смертью, Колю, Марусю, за всю мою жизнь, я никогда не забывал. Это не ужас, не мрак. Я живыми их помню. Они жили во мне; они очищали мою жизнь. Верочкиной смерти я не видел. Но умерла она (от внезапного воспаления почек) через три недели после того дня, когда я ее целовал, и больше чем целовал. Боже мой, как горячи были ее губы! Ничем горячей не обжегся я с тех самых пор. А ведь пребывал затем долгие еще годы в полной, если на то пошло, невинности. Совсем мы с Верочкой и не ведали, к чему приступали, чего вожделели в тот миг. Оттого, вероятно, так и был несравненно горяч поцелуй. Огонь, сознанием познанный, становится огоньком. А мне все мерещилось тогда, что Верочка в том огне, ею или нами зажженном, и сгорела через три недели.

Отец ее, уже после Колиной смерти, как наказанье им истолкованной, перестал пить. Год выдержал, запил опять. Но когда дочь умерла, бросил всерьез. Стал тихий, потухший. Ласков был с женой до слез; но года не прошло, даже и не поболев по-настоящему, слег на два дня в постель, причастился, соборовался, умер. Денег не было. Но Макаровы не совсем, все-таки, были Мармеладовы; Соня на улицу не пошла. Да пожалуй и успеха в уличной профессии ожидать ей не приходилось. Осунулась, сморщилось лицо ее, иссохли губы. Поступила подавальщицей в общественную столовую. Моя мать жалела ее, как никого. Но в несчастье своем она была спокойна. Примирилась. Когда приходила к нам, даже и улыбалась, шутила. Об умерших не говорила никогда. Верила, что все они в раю, - и рано расцветшая златокудрая дочь, и ангел-Коленька, и добрый пьяница муж. Все они ждали ее там. Оставалось ей, поджидая встречи с ними, еще несколько лет

прожить с нами на земле. После четырнадцатого года еще жила. Сколько лет после Октября прожила, не знаю.

Двоюродный брат, студент

Мои родители образованием не блистали, люди были цивилизованные, но некультурные. Ни литература, ни музыка, ни живопись не значили для них ничего. Книг было в доме очень мало; мой отец, к лицемерию не склонный, показной библиотекой не обзавелся. У него было небольшое собрание старинных часов, колец и табакерок; одна из стен его кабинета завешана была старинным оружием. Ему искренно нравились эти вещи. Безвкусных или поддельных среди них не было. Принадлежал ему также унаследованный от моего деда подписной натюр-морт Виллема ван Альста, хорошего голландского мастера, другой натюр-морт которого, близнец первого, завещан был тете Миле, вдовице столь же малообразованной и к культуре причастной разве что любовью к цветам и охотой к садоводству; как отец мой к культуре был причастен любовью к добротному ремеслу. Что же до матери, то она помнила наизусть "Колокольчики мои, цветики степные" Алексея Толстого, и принадлежал ей, до сих пор мною хранимый, том Апухтина. Что тут еще сказать? Она "любила природу" - выражение банальное, но сама эта любовь банальной не была. Да и приложимо ли понятие банальности к какой бы то ни было подлинной любви? Во избежание недоразумений прибавлю, что по мере приобретения мною культуры, нехватавшей моим родителям, я вовсе не стал смотреть на них сверху вниз: во-первых, потому что их любил; во-вторых, потому что они не претендовали обладать тем, чего у них не было; и, в-третьих, потому, что убедился рано: никакое образование, никакая внешняя причастность к благам культуры не избавляет людей ни от глупости, ни от низости.

С другой стороны, если культуру принимать всерьез, следует признать, что состоит она не из знаний, хоть и нуждается в них, не из умений, в смысле технических сноровок, а из пониманий не поддающихся ни точной проверке, ни систематическому подсчету. Школа, на первых порах, давала мне знания, и только; откуда же понимание стал я добывать? В двух областях я могу назвать определенных лиц, известную долю своего понимания мне передавших. В области музыки, о

которой речь впереди, и в области литературы, поэзии, прежде всего, куда меня ввел, на пороге моей юности, двоюродный мой брат, старше меня на пять лет, Леонид Владимирович Гéорг, студент Петербургского университета, сын рано умершего старшего брата моей матери.

До его студенчества, я Лёлю не помню. Вероятно, как и другие родственники моей матери, он бывал у нас редко. Их было много; мой отец не очень их жаловал. Среди двоюродных моих братьев был и другой Леонид, малоинтересный студент-юрист, в отличие от которого, по-видимому, Лёлю и звали Лёлей а не Лёней. Но с тех пор, как он поступил на славянское отделение филологического факультета, когда мне было лет 14, он заинтересовался мною, мы стали видеться с ним чаще, и приоткрыл он мне постепенно мир, который школа не сумела бы, да и не старалась мне открыть.

Не помню никого у нас в классе, кто любил бы стихи, говорил бы о стихах. А такого преподавателя русской литературы, каким в Тенишевском училище был, в виде исключения Владимир Васильевич Гиппиус, у нас и в помине не было. Учить стихи наизусть, как это требовалось в младших классах, я терпеть не мог. А память моя, хоть и превосходная, не так была устроена, чтобы они мне сами собой запоминались. Помню рассказ близких о том, как в раннем детстве я расхаживал по комнате, скандируя длинную вереницу строк, всего, например, "Роланда-Оруженосца" Жуковского, совершенно автоматически занесенных, по-видимому, мною на какое-то призрачное подобие позднейших вращающихся лент. Но сам я этих подвигов моих не помню. Школьником я стал этому чужд и быстро возымел неприязнь к наскоро отбарабаненным или "рассказанным своими словами" Пушкину, Лермонтову, Некрасову... Я способен и сейчас на собственной внутренней шарманке так провертеть: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром..." или "Прибежали в избу дети, второпях зовут отца...", что будут посрамлены поэты и упразднена поэзия. До такой степени я к ней в русских стихах оглох, что лишь наткнувшись во французской хрестоматии на верленовские "Осенние скрипки", огорошен был чувством, что ведь стихи эти поют! Русские для меня стучали или молчали.

Двоюродный брат мой положил этому конец. Безо всяких назойливых пояснений, стихи в его чтении обрели музыку, впервые

сделались стихами. "Медный всадник" перестал быть идеей или картинкой или самим монументом, если из Александровского сада выйти, пройдя его во всю длину. Услышано было теперь тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой! "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" зазвучали, ожили. Потому и ожили, что зазвучали. Не распавшись в то же время на актерские реплики и аритмические интонации, которыми поэтически обессмыслить можно и Данта и Шекспира. Лёля читал стихи прекрасно, а театральное искусство горячо любил и отлично понимал. Но чтение стихов, разрушающее стих, отвергал решительно и высмеивал беспощадно. Как и декламационное их чтение, которому из просвещенных и близких театру старших современников, оставался верен (еще в Париже!) князь Сергей Волконский. Чтение это можно назвать возвышенно-театральным в отличие от того актерски-бытового, которым оно было заменено. Поэзия от этой замены не выиграла, скорее проиграла.

Мечтою Лёли было стать режиссером. Когда он окончил университет и начал преподавать в недавно основанной и считавшейся образцово-передовой гимназии Лентовской, он поставил там "Двенадцатую ночь". Играли одни только мальчики, его ученики. Так хорошо играли и так безупречно читали стихи, что хоть и случилось мне позже видеть "Двенадцатую ночь" и на английской сцене, и на немецкой, и на французской, могу смело сказать, лучшего исполнения ее мне увидать не довелось. Лёля и частицу своего пристрастия к театру мне передал, которая лишь постепенно во мне иссякла, после отъезда из России. И слышанию стихов, и вниманию к прозе научил, и любовь к Петербургу во мне воспитал. Недаром часами я с ним бродил по мостам и набережным в белые ночи.

Но, знаешь, друг мой и брат! Бог весть, что сталось с тобой. И верно нет тебя давно на свете..., а мне все напомнить хочется тебе тот день, когда ты мне принес на листки распадавшиеся от частого перелистыванья, папиросной бумагой обернутые, "Стихи о Прекрасной Даме". Было это еще первое издание с обложкой Владимирова; - какой детской, какой неуверенной кажется она теперь! Ты прочел вслух тихим голосом несколько стихотворений и оставил мне книгу. Я был почти

испуган совсем новой для меня певучей невнятицей этих стихов. "Все дышавшее ложью отшатнулось, дрожа... предо мной к бездорожью золотая межа..." Где я? О чем это? Отчего, только прочтешь такие строчки, и возникнет в тебе неудержимо ответное пение души? "Заповеданных лилий прохожу я леса... полны ангельских крылий надо мной небеса..." Совсем окутал меня постепенно этот поэтический туман. Никаких других стихов мне уже и читать больше не хотелось. Одни эти листки все листал я и листал, был ими одурманен, опьянен. Связь этих стихотворений между собой оставалась мне неясной; в их пересказу доступный смысл не старался я вникать. Но ни один из дальнейших трех блоковских сборников, позже мною прочитанных, так меня не околдовал. Когда через два года после этой первой встречи, вышел четвертый, "Ночные часы", я стал зрелее и понял его зрелость. Но первая встреча моя со стихами Блока была все же поэтическим моим крещением, и восприемником моим от купели был мой брат, сын моего крестного отца.

Глухие друзья

О людях вспоминал я до сих пор в этих куцых моих главках, о приятелях, воспитателях, о детях, которых любил, когда сам еще не был взрослым, или о людях, о людишках, застрявших в памяти моей почти что ни с того и ни с сего. Книги не заменяют людей, даже (или как раз) обыкновеннейших людей; но ведь мною меня сделали именно книги, в большей мере, чем люди, в более частом общении с ними, чем с людьми. Пусть кроме них пестовали меня и уму-разуму учили изделия всяческих искусств (точнее говоря, не они, а высказывания, вложенные в них), а также поездки в чужие, но не совсем чужие и не очень дальние края. Однако и в странствованьях без книг не обойтись, да и обо всех искусствах много я книг прочел. Так что, повсюду и всегда, книги, книги, книги.

"Прощайте, друзья!" С тех пор, как я в юности эти пушкинские предсмертные слова, к его книгам обращенные, прочел - ведь и о них из книги узнал! - много раз возвращался я мысленно к ним, много раз желал на смертном одре их повторить, предполагая тем самым, что с этого одра видимы будут мне книжные мои полки. Оскудевшие, вероятно. Что ж? Дело в книгах, а не в множестве книг. Никогда я их не "собирал": для чтения покупал, для перечитыванья хранил; библиофильством лишь на самый краткий срок заразился, неведомо от кого и в очень странное время: весной семнадцатого года. Было их у меня в Петербурге до двух тысяч, не считая особенно ценных или хорошо переплетенных и поэтому раскраденных, в мое отсутствие, вскоре после Октября. Увезти мне позволили сто книг; остальным я "прощайте" сказал перед тем, как извозчика нанять, доставившего меня на Финляндский вокзал с моим книжным сундуком и неувесистым чемоданом. Нынче их у меня тысяч около шести, после того, как я, и в парижские разные времена, вынужден был, чтобы деньги за них выручить или за неимением места для них, со многими расстаться. Расстанусь и с большинством из тех, что нынче со всех стен на меня глядят. Но со всеми - не решусь. Скажу "прощайте, друзья", но самые неразлучные останутся со мной до последнего прощанья. Не ответят они, не услышат. Ведь и Пушкина услышали не они.

Не потому не ответят, что не умеют говорить, а потому что не слышат. Не мертвые или немые, а глухие они друзья.

Сними их с полки, раскрой, и они заговорят; ответят даже на те вопросы, на которые отвечать им предуказано; подскажут тебе и безответные уже, или на которые в других книгах нужно искать ответа; но поведать книгам себя или то, что дорого тебе, нельзя, как впрочем и многим (не очень близким) жизненным спутникам твоим, охотно выкладывающим тебе свое, но внимательно выслушивать тебя несклонным или неспособным. А книга тем хороша, что начать ее слушать (читать, это и значит слушать, если верхоглядство не твоя болезнь) ты можешь, когда хочешь; и перестать тоже, когда хочешь. Выбираешь ты ее всегда сам, и если правильно выбрал, будет она тебе другом самым верным, - не обманет, не предаст; а если обманет, ты один в этом виноват, и обман этот почти всегда может исправить другая книга. Но пути, конечно, неисповедимы, по которым книги - особенно в детстве прочитанные - нас ведут.

Первой любимой моей книгой была "Жизнь животных" Брема, трехтомная, в русском переводе, подаренная мне в дошкольные еще годы, доктором Левицким. До шестнадцатитомной так никогда я и не дорос, а эту читал и перечитывал с наслажденьем, особенно первый и третий том: птицами почему-то меньше интересовался. Сохранись она у меня, именно за второй теперь бы я засел: по птицам соскучился, никаких давно и нет у меня на виду, кроме воробьев в Париже, да ласточек в Испании. Но естествоиспытателем чтение Брема меня не сделало. Жуков и бабочек собирал, но без большого увлеченья, а из него вычитывал всего усердней сведения насчет "образа жизни" животных и отличий одной породы от другой. Так что подготовило меня это чтение, не к естествознанию, а к истории, что я и понял в университете, когда узнал о проводимом Риккертом (и Виндельбандом, и уже до него Дильтеем) различении "полагающих законы" наук от наук "единично-описательных", - как история, подменяемая нынче социологией, и все филологические науки (кроме вспомогательных для языкознания), а также ботаника Линнея или зоология того же Брема (но, конечно, не вся зоология и не вся ботаника). Индивидуумы, описываемые Бремом, не особи, а породы, но таковы же и многие единичности истории: племена, народы, "страны", города; таковы стили, пошибы, манеры, жанры,

и даже единичность художника, по сравнению с единичностью каждого из его произведений. Романов Вальтер Скотта, стольких историков к истории приведших, я в те годы (кроме "Айвенго") не читал. Их заменили для меня описания жизни каких-нибудь бобров или барсуков, или того, что́ отличает кобру от гадюки, гориллу от оранг-утанга. Брем был путешественник; ни в какую лабораторию он меня не вел и не привел. Искры интереса к биологии, ни он и никто другой, к сожалению, в меня не заронил. Когда поздно, слишком поздно, я заинтересовался ею, то подошел к ней и тут с морфологической ее стороны, - описательной, иначе говоря, а не экспериментальной.

Что мне дали романы Жюль Верна, которого лет двенадцати полузапоем я читал, этого вовсе я не знаю, а все-таки что-то в них или в нем, быть может чистосердечие, простодушие его, благодарность мне к нему внушает. Ведь одновременно я и полицейские романы, вплоть до Нат Пинкертонов, у газетчиков покупаемых, читал; правда, недолго, меньше года, покуда ногти кусал, а потом бросил, и навсегда: ногти стал стричь, и пинкертоны, даже и усовершенствованные, больше для меня не существовали. Но "Дети капитана Гранта" (и родственники их) пинкертонам не чета, да и выше рангом, думается мне, ближе к волшебной сказке, чем Шерлок Холмс, даже когда играет он на скрипке или беседует с другом своим (похожим на героев Жюль Верна), доктором Ватсоном. Вообще рано во мне проснулось избрание того, что́ повыше, с отказом от низменного, хотя бы и низменно-увлекательного или низменно-забавного. Избрание это пока что скорей к этике относилось, чем к эстетике, по-видимому, я не склонен был - уже тогда - эстетику напрямик и до конца отделять от этики. Хвалю себя за это, но вместе с тем и не хвалю. Низменным казавшееся мне, может быть, порой и не столь уж было низменным, а высокое иногда притворялось всего-навсего высоким, и брезгливость моя - врожденная и никогда полностью не побежденная мною - нуждалась и в обуздании и, еще больше, в проверке. Однако и сейчас я по-прежнему не могу понять, зачем же в литературе, в искусстве, в чем угодно, вторым сортом довольствоваться, если существует и доступен первый. В разговоре, полушутя, Георгий Иванов меня однажды упрекнул в том, что я совсем не читал второсортных русских

авторов. Верно, не читал. Но зачем же мне было их читать - Шеллера-Михайлова или Мамина-Сибиряка - когда я мог прочесть стольких первосортных иностранных? Но тут эстетика вступает в свои права, и любопытно мне вспомнить, что вступила она в эти права при французских моих чтениях, а не русских.

Жюль Верна, Конан Дойля, Купера, Майн Рида читал я по-русски, и тогда же, что для школы полагалось читать - "Капитанскую дочку", "Тараса Бульбу", "Детство и отрочество". "Интересно" было и это, но и не очень по-другому, чем то. А вот - не исполнилось мне еще и четырнадцати лет - застала меня мать за чтением французской книги...

- Что это ты читаешь?

- "Madame Bovary".

- Рано тебе еще. Да и ничего ты не поймешь. Вредная это для тебя книга.

- Мама, если я ее не пойму, какой же она может принести мне вред?

Что́ я в ней понял и чего не понял тогда, не знаю, но помню, что понравился мне у Флобера и способ рассказа, и слог, тогда как в книгах, читавшихся мною по-русски, я ни того, ни другого не замечал. В ту же зиму купил я у Вольфа узенькие "Цветы зла", в малом издании Lemerre'a, отнес книжку к переплетчику на Большой Конюшенной и для переплета выбрал зеленую змеиную кожу. Декадентский это придало ей вид, но ведь самые "сатанинские" (худшие) стихотворения в ней и нравились мне в то время всего больше. Или кинжально-кощунственное A une Madone, ex-voto dans le goût espagnol , в конце которого семь смертных грехов, семь ножей, мечтает вонзить грешник-поэт в любящее сердце Марии:

Je les planterai tous dans ton Coeur pantelant,
Dans ton Coeur sanglotant, dans ton Coeur ruisselant!

Тут, однако, пусть и связанная с темой, уже словесная музыка захватывала меня. В русских стихах я еще музыки не чувствовал, а научил меня ее слышать немножко раньше, чем Бодлер, Верлен. Ничего не может быть банальней: "Осенние скрипки" я нашел, или они меня нашли, во французской хрестоматии. Не совсем я был туп, <u>этой</u> мелодичности не мог не ощутить

Les sanglots longs
Des violons...

Не хитра она, но подлинна. Она мне азбуку преподала и всякого другого звукосмысла.

Вот я и декадент-молокосос, и эстет, и модернист, и в формалисты, пожалуй, когда подрасту, запишусь, а то, чего доброго, и к футуристам примкну. Но лето пришло после той зимы, и стал я целыми днями на даче под липой в аллее сидеть, а чаще еще на застекленном балкончике над кухонным крыльцом, где одна качалка моя соломенная и помещалась, - сидеть и впервые все наше прежнее, главное читать всерьез: Тургенева, Гончарова, но Толстого еще горячей, и всего жарче Достоевского. Полагаю, что все они в союзе, да и с поэтами нашими заодно, которых Лёля научил меня читать, от выкидыванья этики за окно, как и ото всех "измов" декадентишку змеиного и уберегли.

Попытка самооправданья

Кончаю о детстве моем, кончаю.

Перечитываю главку за главкой... Кому какое дело до всего этого? С какой стати о змеиной коже, о Прекрасной Даме, о друзьях и знакомых, о Швейцариях, о сонных городках... О Зеличке, Женичке? Истлели их кости, исчезнет со мною их память. С какой же стати навязывать ее другим? Дальше пойдет у меня рассказ, скорее способный показаться небесполезным – о музыке, искусстве, театре, о петербургской всем этим жившей жизни, в начале нашего столетия. Кое что и там сказано будет обо мне: ведь _я_ этой жизнью жил; но на первом плане будет все же она, не я, и не памятные мне, но другим неизвестные и вполне безразличные им лица. А все это – нечто вроде введения? – можно обойтись и без него. Прихоти своей уступил, написал, ну так видвини ящик стола, туда и положи, чтобы не тебе самому в корзину листки эти выбрасывать.

Да, вполне возможно рассуждать и так. Но если писателю даже и надлежит сомневаться порой и в писательстве своем и в выборе тем для своих писаний, то вправе ли читатель заранее считать темы вроде моей, покидаемой мною теперь, недостойными его внимания? Неудачное выполнение такого замысла он, конечно, вправе отвергать. Но замысел, сам по себе, едва ли. Западноевропейский читатель к этому и не склонен, но русский склонен, и прежде всего потому, что не-сочинителя не считает и писателем. Писатель, по его мнению, это автор романов или рассказов, хотя соответственное слово ни во французском, ни в английском, ни в немецком, ни в итальянском языке не имеет столь узкого значения. Писатель, по-нашему, это "беллетрист", хотя французское выражение Belles-Lettres (в старинном нашем переводе "изящная словесность") точно так же имеет значение гораздо более широкое. Но и независимо от этого, вспоминать публично и печатно о детских своих годах полагается, видимо, у нас лишь редчайшим избранникам славы. Так думал, во всяком случае, редактор "Современных Записок", М.В.Вишняк, с возмущением сказавший о Ходасевиче, по поводу его "Младенчества": "Что это он, за Толстого себя принимает, что ли?". По правде сказать, о Толстом "Детства и отрочества" никто еще и не знал,

что в самом деле станет он Толстым, и тем не менее книга его никого как будто не возмутила, - не потому, конечно, что Лёвушка назвал себя Николенькой, а потому что литературно благовоспитанными оставались те наши, к плохим уже приближавшиеся, времена. Что же до "Младенчества", то этот недлинный, но совершенный и пленительный образец русской прозы очень украсил бы "Современные Записки", если был бы напечатан там, а не в газете "Возрождение".

По-моему, однако, даже и при отсутствии всяких литературных достоинств, воспоминания детства приятно бывает читать и питательно для нашей человечности. Знаю, что не все со мною согласятся. Закидывал удочку, и каждый раз мою лёску на подводную корягу нацеплял. Одни мне говорили, что воспоминаний не печатают, не приурочив их к какой-нибудь знаменательной годовщине. Что ж мне мои к трехсотлетию дома Романовых пристегивать, или к Цусиме, или к переименованию Петербурга? Другие порицали мой рассказ о французской гувернантке, о поездках заграницу, о матери моей, вздумавшей меня сопровождать во время школьного путешествия на Кавказ. Привилегированный, мол, барчук, хвастает своею привилегией. Но хвастать нечем: десятками тысяч исчислялись такие не Бог весть сколь барственные барчуки, как и гувернантки, как и поездки заграницу, а причуда моей матери очень ведь скоро спутникам моим показалась премилою причудой. И, конечно, мы были в меньшинстве; но не переключать же мне себя задним числом в большинство; да и потребности в этом я ровно никакой не ощущаю. Нет, мои собственные сомнения могли бы меня удержать, а возражения этого рода к обратному решению побуждают. Написал, так пусть и прочтут. Не надо, чтобы многие прочли. Если я из относительно немногих, пусть прочтут совсем немногие.

Лети, кораблик мой, лети. Все равно: теперь в другие воды предстоит тебе направить путь, и нагружен ты будешь тяжелей, а до сих пор, совсем налегке, не плыл ты, а именно летел. Как кому, а мне всего отрадней это было. Тем хуже, если вовсе никого не сумел я отрадой этой заразить.

Уроки музыки

В те стародавние времена полагалось обучать детей музыке; кое-где не совсем перевелось это и теперь. На рояле учили играть не только девочек, но и мальчишек. Я не был ни особенно музыкален, ни особенно не музыкален. Старенький учитель, с белым пушком на голове, начал к нам приходить еще когда мы жили на Морской. Звали его (не удивляйтесь) Бах; но толку от него не было никакого. На Малой Конюшенной сменила его учительница, совершенно исчезнувшая из моей памяти. Баха вижу, а ее, как ни стараюсь, увидеть не могу. Зато сменившую ее года через два вижу довольно хорошо: молодая женщина, считавшаяся вероятно красивой. Орлиный нос, глаза на выкате. По нынешней моей оценке, ростом неплоха, объем в талии, груди и бедрах вполне приемлем. Помню, что и летом она мне докучала, - не только уроками, к которым с Баховских времен так я и не приохотился, но еще и тем, что легко разгорячалась, показывая мне как надлежит играть какой-нибудь трудный пассаж, вследствие чего, отворачивая от нее нос, мне и в ноты приходилось глядеть одним только левым глазом. Не по этой, однако, причине, а по двум другим, не могу я рассказать о ней (и о себе) ничего похожего на то, что столь живо, хоть и столь непристойно рассказал о таких же уроках Генри Миллер, - в одной из первых своих книг, которую подарил он мне в Париже, когда был молод, необыкновенно, с виду, малокровен, и разговаривал со мной отнюдь не о том, о чем писал, а все больше о суете земного бытия, о Боге и о Достоевском. Во-первых, не достиг я в те обременяемые музыкой до-музыкальные мои годы еще и четырнадцати лет, и о "цитереиных приятностях" (по Тредьяковскому их именуя) вовсе и не мечтал; а , во-вторых, и тогда, и позже, и много позже, "кавказского" или "грузинского" типа женская краса внушала мне почему-то, даже при восхищении, некоторый ужас. А вообще, увы, от Иоганна-Себастьяна до княжны Джавахи, ничего ровно изо всех этих уроков не получилось путного.

Свет воссиял, новая эра наступила с того дня, когда на стул слева от вертушки сел никто иной, как Даничка. Знавал я

позже людей значительней или умнее, чем он, но столь милого человека так за всю жизнь и не встретил. Был он сыном в Райволе жившей (и там же родившейся) вдовы, злоупотреблявшей румянами и белилами, неспособной забыть свою прежнюю, еще угадываемую красоту. Мужа ее, рано умершего чиновника, почему-то переводили много раз из одного города в другой, так что Даничка учился чуть ли не в шести гимназиях. Затем окончил по дирижерскому классу петербургскую Консерваторию и когда вошел в наш кругозор, был уже хормейстером Мариинского театра. Первым дирижером этого театра стал он в середине двадцатых годов. Даниил Ильич Похитонов умер не так давно и оставил книгу воспоминаний, которую мне достать и прочесть, к сожалению, не удалось. Имя его многим в Петербурге вероятно еще памятно; мне оно памятно иначе. Для меня он - Даничка, на дачу приезжавший летом, не к матери, а к нам; тётичкой называвший, не будучи с ней ни в каком родстве, мою мать; с Марианной Борисовной разучивавший партию Изольды (он-то ее и научил партию эту должным образом петь), а мне, в обмен, должно быть, на мои теннисные уроки, дававший уроки музыки.

Ни те, ни другие к большим успехам не привели; но мои оказались и вовсе бесполезны (бегал он и без того быстро, метил метко, а держать ракетку не посередине рукоятки научить его все равно я не сумел), тогда как его уроки, хоть фортепьянной моей игре и не очень помогли, но музыку для меня приоткрыли, - оперную поначалу, из которой исходя, я затем и другую, в положенных мне пределах, научился слушать и понимать. Странные были это уроки. Длились порой и два часа, и три, но четверть часика я поиграю, а потом на вертушку пересядет он, да смотришь всю "Валькирию" мне и проиграет, поясняя инструментовку, ей еще и голосом подражая, да и напевая за Хундинга, Зигмунта, Вотана, за Зиглинду, за Брунгильду, так что, до третьего акта дойдя, слышал я и полет, и пляску огня в конце, а если "Зигфрида" начал играть, то и ковку меча, и шипенье пара, и птичий щебет, и рев разбуженного дракона. Музыкален он был до мозга костей; всё это оставалось музыкой и музыку в меня вводило. А потом отправлялись мы с ним тут же рядом, в саду, на теннисную

площадку, и принимался он Катюшу дразнить просьбой одолжить ему белые ее туфли: номер его башмаков, ей на горе, был тот же, что́ у нее.

Милый Даничка! Музыкой я ему обязан; и еще чем-то, чего не берусь я объяснить. Не легко было ему жить, по разным причинам, а все-таки жил он легко, и с ним жилось всякому легко. В этом тоже была музыка, или во всяком случае нечто не противоречившее музыке.

Несовершеннолетний вагнерианец

В юности моей таких строгих был я правил (меньше к этике относившихся, чем к эстетике), что не слышал и не видел ни одной оперетки. Больше того: эстетика тогдашняя моя такая была узкая, что и в итальянской опере, каждый год гастролировавшей в большом зале Консерватории, ни разу я не побывал. Ходил только напротив, в Мариинский театр. Русские оперы слушал охотно, - кроме "Евгения Онегина", чье либретто издевается над Пушкиным. Особенно любил я "Сказание о граде Китеже" и "Хованщину". Либретто "Хованщины" аляповато, но музыку ее я предпочитал даже и музыке "Бориса Годунова". Даниил Ильич рассказывал мне о "Хованщине", что в девятьсот восьмом или девятом году, когда ее повезли в Париж, публика Grand Opéra пришла от восьмиголосого мужского хора a capella , заканчивающего третий акт, в неописуемый восторг: пришлось повторить его восемь раз. Мусоргский, по его словам, плохо знал оркестровку, но качества голосов чувствовал, как никто, и с таким искусством распределил в этом хоре партии по голосам, что получилось впечатление чего-то нового, французам вовсе незнакомого. Вероятно и был он величайший русский композитор, но главным, в те годы, придворным поставщиком музыкального моего величества - или ничтожества - был не он, не Римский-Корсаков, не Чайковский, не Глинка (я даже "Руслана" никогда и не слыхал); богом или божком моим был Вагнер.

Легче было Даничке, который и сам Вагнера любил, сквозь него в музыку меня ввести, оттого что в музыкальных драмах Вагнера, при всей силе их музыки, есть и многое немузыкальное: драматургическое, поэтическое, сценическое (едва ли самого высокого полета), да и его система лейтмотивов немузыканту вполне понятна, даже и такому, который делает только вид, что любит Баха или Моцарта. "Тристана", о котором речь впереди, я из этого суждения исключаю. Его одного. Но это нынешний мой суд. Тогда, покуда я "Тристана" не услыхал, в центре моей любви, моей "вагнеролатрии" была тетралогия, и высшим ее кумиром (эту оценку я не изменил) была "Гибель богов".

Тетралогию, до войны, когда с Вагнером было покончено, как если б ответствен он был за Вильгельма II-го, давали, в Мариинском театре, на второй, третьей, пятой и шестой неделе Великого поста. Я ходил на каждую оперу по два раза. Слушал, да и на сцену глядел с сочувствием прямо-таки беспредельным, но и происходившее за кулисами, по даничкиным рассказам представлял себе очень хорошо. Над тяжеловесной вагнеровской бутафорией подсмеивался. Это восторгу не мешало. Это даже входило в мой восторг.

Вторник на второй неделе. Потушили огни. Направник или Альберт Коутс взмахнул палочкой. После краткого вступления, поднялся занавес, и началось пение дочерей Рейна. Видим мы этих русалок только до пояса, созерцаем пышные локоны и большие декольте, а пониже от наших глаз сокрыты суконные юбки и городские башмаки. Театральные машинисты возят там за сценой, или верней под сценой, тележки на резиновых шинах, где сидят русалки; в этом и заключается их плаванье. А дальше - сколько забавного! Великаны Фазольт и Фафнер с дубинами в человеческий рост. Пламенеющий и ради большей убедительности вздрагивающий всем телом бог огня, Логе - довольно-таки крупный и дородный и не очень молодой Ершов. Или навек отрекающийся от любви, дабы овладеть золотом, Альберих. Однажды, помнится, пел его Тартаков, "любимец публики" в роли Риголетто, где он, чтобы придать хрипловатому голосу былую влажность, отвернувшись от зрителей, сосал лимон. Громоздкие околичности разрушали, будто бы, иллюзию. Трудно вашу иллюзию разрушить, когда вам пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет.

Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет...

Через час после их полета приходит она к концу, да и тот, кто "рукоплещет в райке", не такой уж, может быть, "глупец": ведь смычки-то взаправду поют, да и певцы поют неплохо. Зигмунд - Ершов, Зиглинда - Больска, Хундинг - косолапый Сибиряков. Оркестр бушует. Вбегает запыхавшийся Зигмунд. Сестра его, Зиглинда, не зная, кто он, встречает его уже любовно (соответственный лейтмотив нас об этом заблаговременно оповестил). Далее Зигмунд споет "сестра, так будь и невеста", как будто невесты по необходимости бывают сестрами. Но пока что (другой

лейтмотив) появляется Хундинг, грозный зиглиндин муж, с огромным копьем в руке. Вопрос о Зигмунде. Второй вопрос, зычным басом: "А ты, что́ с ним?" Польский акцент очаровательно хрупкой, но не то чтобы совсем юной Больской:"Гостя беззащитного пугается трус один!" Ничего не поделаешь. Надобно гостя угостить. Приносят гигантский окорок, деревянно стучащий, когда его кладут на стол. Зигмунду затем надлежит вытянуть с превеликим усилием Нотунг (мотив меча) из ствола ясеня и бежать с Зиглиндой. Второй акт. Их настигает Хундинг. После того как, стоя в колеснице, запряженной парой белых баранов, разгневанная Фрикка отбудет за кулисы и Вотан объяснится с возмущенною Брунгильдой, ему, Хундингу, полагается, еще не выйдя на сцену, спеть или выкрикнуть: "Вельзе, Вельзе, бейся со мной, если от своры ты спасся!". Для этого нужно стать на низкую лесенку, за боковою кулисой слева. Но во́время стать, во́время, в этом все дело. А Сибиряков мешковат, вечно опаздывает. За него "вступает" либо суфлер в своей будке (Сафонов, мастер своего дела, брат московского дирижера), либо Даничка, отодвинув Сибирякова, вспрыгнув вместо него не лесенку. Во время поединка Хундинг так держит свой меч, что Ершову, отличному актеру, стоит больших усилий пасть под его ударом...

А в последнем акте, в изумительном, как-никак, последнем акте, когда повергнута во прах Брунгильда возле холма, на котором ей предстоит усыпленною лежать, и поет эту партию престарелая, располневшая до невозможности Фелия Литвин, как нелепо перерастают ее пухлые телеса тот невзрачный театральний холмик! или, в "Зигфриде", как рычаще-мычаще звучит возглас Фафнера-змия - словно в бочку зевок - "спа-а́ть хочу-у́"! И та же Фелия, в "Гибели богов", когда в ответ на клятву Зигфрида, Брунгильда в свою очередь хватает хагеново копье и клянется в противоположном (Зигфрид утверждал, что ее не знает, она утверждает, что Зигфрид ее муж) разве не являла, в этот трагический момент зрелища незабываемо смешного? Необъятных размеров грудь ее и бедра трепыхались так бурно и столь надуто-резиново, что оркестр и пение можно было слушать только ладонью прикрыв глаза. А ведь само ее пение, и в эти поздние, слоновые ее годы, было все еще

вовсе не плохим.

Черкасскую надо было слушать в этой партии. Превосходным ее партнером тут (как и повсюду) был Ершов. Однажды заменял его здесь Матвеев, певец недурной, но актер никакой, да и неопытный, робкий. В конце первой сцены, когда покидает Зигфрид Брунгильду, взяв коня ее, Гране, под уздцы, случилась с Матвеевым неприятность: не задвинулись еще картонные облака, как он споткнулся, упал, растянулся во всю длину, и конь, под смех публики, перешагнув через него, медленно направился в глубь сцены. Никакого увечья не получилось: лошадь резвости не проявила, да едва ли была и способна проявить. Однако, и для Брунгильды обременителен становится этот ее безобидный, но громоздкий конь, когда остается она с ним одна на сцене, чтобы вернуть дочерям Рейна похищенное у них кольцо, когда костер Зигфрида зажигает пожар Валгаллы, когда взойдет сейчас и Брунгильда с конем своим на костер, и зальют ее, и Зигфрида, и Гране воды разбушевавшегося Рейна. Зальют, зальют... Но не раньше, чем будет пропето всё, что полагается пропеть (полагалось бы по вагнеровскому завету, не исполнявшемуся, слава Богу, продекламировать вдобавок и без музыки длинную тираду),а петь приходится, держа под уздечку хоть и старого, но не беспредельно терпеливого коня, да еще и прикармливая его, чтобы смирно стоял, припасенными заранее и зажатыми в левой руке кусками сахара. Публика этого кормления не замечала; Марианна Борисовна рассказывала нам о нем. Петь надлежало и петь, наедине с оркестром, глядя украдкой на дирижера, покуда наконец не прозвучит тема Валгаллы сквозь тему гибели богов и не поведет Брунгильда коня на костер погибшего героя.

И что ж? Разве плох этот финал? Разве Черкасская не великолепно пела? Бутафория растворялась в музыке; нищета театра (потому что всегда есть в театре и нищета), даже при характерно вагнеровской, довольно далеко идущей безвкусице, побеждалась вагнеровским же музыкальным гением. И оперу нашу тогдашнюю бранить было бы нелепо. В 1912-ом году, будучи в Мюнхене, я прослушал в театре Принца-Регента "Валькирию" и "Зигфрида" (правда, без Моттля; дирижировал не он). Поставлены и исполнены эти две оперы

были там нисколько не лучше, чем у нас, а главные певица и певец были даже и определенно хуже наших. Вагнер у нас оставался Вагнером, величие его не было умалено; попросту и несовершеннолетний его поклонник понимал, чтó не всему надлежит у Вагнера восхищаться и поклоняться. Позже изменил он этой первой своей любви, но не вовсе отрекся от нее. А в опере нашей и хор был превосходен, и оркестр на славу выправлен Направником, и певцы, певицы были хороши, - например Касторский (Вотан) или другой отличный баритон, Андреев, или дребезжащий слегка, остренький тенор, Андреев II-ой, певший Миме (и Мéлота в "Тристане"), или, Вагнера не певшие, Липковская, колоратурное сопрано, каких мало, Збруева, самое бархатное контральто, какое когда-либо я слыхал, или при мне появившийся молоденький (и хорошенький) баритон Каракаш, которого "учащаяся молодежь" (женского пола) не уставала, с галерки и балкона вызывать: "Каракаш! Каракаш!" Слышу и сейчас визгливый этот крик. Все эти голоса, столько лет не слышанные, слышу.

Артур Никиш и Феликс Моттль

Музыкальная жизнь Петербурга, покуда не стал он Петроградом, а затем (в этом есть своя логика) Ленинградом, была разнообразна и богата. Относительная скудость и второсортность ее, в Париже, очень меня удивила, когда, начиная с осени 1924-го года, начал я с ней знакомиться. Стал ходить на концерты Ламурё, пользовавшиеся здесь отличной репутацией; прослушал, с возрастающим удивлением, все симфонии Бетховена. У нас, в зале Дворянского собрания, ни на концертах Зилоти, ни на концертах Кусевицкого такого неряшливого исполнения их никогда я не слыхал. Зилоти, превосходный пианист, ученик Листа, образцово, хоть и слишком редко, игравший Баха, дирижером был неярким, но никакого тяп-ляпства в своем оркестре не допускал. Кусевицкий, несравненный виртуоз контрабаса, с тех пор, как женился на богатой купеческой дочке и мог завести собственный оркестр, стал и незаурядным дирижером, даже и слишком порой, в противоположность Зилоти, романтически темпераментным. Приглашали они оба, почти для каждого концерта, солистов, иностранных и русских, - певцов, пианистов, виолончелистов, скрипачей. Приезжали к нам и дирижеры, строгий Вейнгартнер, как и бурный Менгельберг из амстердамского Концертгебоу, который, в особо драматических местах (Девятой симфонии, например), спрыгивал с подножия пульта, бегал вдоль скрипок и левым кулаком требовал взрыва от тромбонов и бас-туб. Но и над ним, и над проглотившим аршин предшественником Фуртвенглера царил всеми обожаемый монарх, в Лейпциге некогда и Кусевицкого лаврами увенчавший, бразды правления никому до четырнадцатого года не уступивший, не то что не сравнимый, а ни с кем даже и не сравниваемый Артур Никиш.

Его лейпцигский оркестр считался лучшим во всей Германии, был равен по славе нынешней берлинской Филармонии, а сам он - Караяну. Но будучи более постоянного нрава, он свой лейпцигский престол ни на какой другой не обменивал и не обменял. Вспыльчив, однако, был. Так рассердил его, говорят, на репетиции, один из его оркестрантов, что он запустил в него дирижерской палочкой. Тот обиделся, заговорил об

отставке. Никиш его принял, сказал, что жалеет о происшедшем, но что раз тот хочет уходить, охотно расстанется с ним: настоящий музыкант должен выше всего ставить музыку, и отличие хорошей музыки от плохой или фальшивой.

Маэстро был уже не молод, но хорош собой; не очень высок, но строен и широкоплеч; великолепны были его руки; обильные русые, слегка седеющие волосы его неизменно в газетах именовались львиной гривой. Дирижерские его жесты плавны и величественны были, как ни у кого, так что пленял он и тех посетителей, а тем более посетительниц концертов, которые музыку, хоть и слышат, но слушать не умеют, да быть может вовсе и не хотят. Однако дирижер был он и впрямь самой высокой марки, повелевавший оркестром царственно, и всегда, вместе с тем, умно; толковавший композиторов посвоему, но не им наперекор; страстный, даже порывистый, чувства не сковывавший, но и всякий "избыток чувств" тщательно отстранявший. Его любили у нас еще и за то, что он очень любил Чайковского, шестую симфонию исполнял с исключительным подъемом, огнем, да и рыданием, где нужно, избегая тем не менее и тут, Чайковским не совсем избегнутой слезливости. Встречали его в Петербурге всегда - и в Москве, конечно, тоже - радостно, восторженно; после концерта подносили цветы, толпились у эстрады, вызывали без конца. И нас, и москвичей посещал он каждый год.

Однажды (не в двенадцатом ли году?) сенсация произошла необычайная. Состоялись концерты под управлением Никиша, после чего расклеены были, где полагалось, скромные афиши о двух вечерах, в малом зале Консерватории, молодой немецкой, у нас неизвестной певицы. Фамилия ее была напечатана крупно посередине, а сбоку направо мелким шрифтом: "У рояля Артур Никиш". Бог ты мой, какая давка, какая толпа! За билеты платили тройную цену; в проходах между стульями стояли; зал, хоть и "малый", но довольно большой, трещал по швам. Всё объяснилось: певица была очень миловидна. Еще не услышав ее голоса, готовы мы были в нее влюбиться, поняв, что маэстро был в нее влюблен. В безголосую, в немузыкальную влюбиться он не мог. Так мы веровали. Но пела она и впрямь хорошо, а немолодой покровитель ее так же мастерски аккомпанировал ей, как управлял оркестром.

Соперников Herr Kapellmeister Nikisch у нас не знал. Покуда... Покуда не приехал к нам, в тринадцатом году, его антипод, мюнхенский принцрегентский главный и прославленный дирижер, Феликс Моттль. Пригласили его дирижировать "Тристаном" в Мариинском театре, - об этом расскажу позже; но дал он и концерт, все там же, в Дворянском собрании (быть может и два, не помню: был на одном), о котором ничего не сказать нельзя, раз я только что говорил о Никише.

Моттль был старше. Не вообще был дирижер; был вагнеровский дирижер; помнил Вагнера; переписывал, на заре своих дней, ноты для него. В концерте, о котором говорю, шла сперва бетховенская симфония (кажется шестая), потом сплошь куски из вагнеровских музыкальных драм. Никакого изящества в облике его не было: неуклюж, некрасив, похож на мясника, с толстым багровым носом и опавшими щеками. Жесты его были неблагородно-выразительны; крешендо снизу обозначал, держа палочку в кулаке, фортиссимо - сжимая кулак, угрожая им оркестру. Но музыкален был всем своим мясом и костяком; весь оркестр и всякого в нем завораживал мгновенно и беспредельно. Траурный марш из "Гибели богов" звучал,точно мы его слышали в первый раз. Глухие звуки в начале, двойные биенья, были потушены так, такою скорбью заглушены, что, я видел, люди вокруг невольно опускали головы. Потом прошла первый раз тема Зигфрида. Большие трубы не рычали, как у других; они в невыносимом надрыве пели; весь оркестр запел, сто голосов, их человечьим и нечеловечьим голосом. И поддал мясник кулаком, и грохнули медные тарелки - тихо, страшно грохнули - и поднялась еще раз тема со дна оркестра, словно вытащил ее Моттль из человеческих душ, и до середины - все круче, все громче в смерть подымаясь - до середины дошла, и рухнула, в смерть оборвалась. Философ Николай Онуфриевич Лосский, сидевший наискосок от меня, плакал навзрыд. Большие паузы опять начались и глухие удары; мы слушали их, мы слышали наши сердца. Моттль протянул руки, нагнул голову, сверху посмотрел на музыкантов. Когда кончилось, мы не посмели аплодировать.

Некоторые из многих и Бузони

Приезжают нынче в Париж знаменитые скрипачи, виолончелисты, пианисты со всех концов света; приезжали они прежде и к нам, еще чаще, еще охотней, чем сюда. Среди скрипачей знаменитейшим, в предвоенные годы, был Крейслер, которого я слышал много раз на симфонических концертах, а под конец на собственном его вечере, без оркестра и без рояля, не где-нибудь, а в битком набитом оперном зале, не помню - Консерватории, а то может быть и Мариинского театра. Предпочитал я ему престарелого, менее блестящего, но более вдумчивого, как мне казалось, Изаи; восхищался, однако, и Крейслером, - безупречностью и безупречной выразительностью его игры, точным соответствием ее стилю играемого автора. Два недостатка у него были; но его, а не его игры. Он сам писал музыку для скрипки, довольно пустую; и до того любил успех у широкой, широчайшей публики, что играл порою на бис, а то вставлял и в программу своих концертов вещи недостойные концертного исполнения. Из-за этого и приключился маленький скандал на том самом триумфальном его вечере, где он один на сцене со скрипкой весь оперный зал околдовывал своей игрой.

Говорю "маленький", оттого что произошел он на галёрке, где и я в тот раз сидел, и заметили его немногие; но по смыслу он был крупней, чем по размеру. Вторая половина программы составлена была безукоризненно. Зато первая состояла из произведений третьесортных, но подкупающе сентиментальных, или же пригодных для оказательства самой что ни на есть акробатической виртуозности. Среди них было два или три творения самого маэстро. Когда финальную пустышку разыграв, Крейслер раскланивался под гром аплодисментов, два молодых человека подошли к парапету галёрки, положили каждый два пальца в рот и свистнули столь решительно, что если далеко не весь зал, то Крейслер их, во всяком случае, услышал. Он поднял глаза в нашу сторону, молодые люди свистнули еще раз, но их уже выводили, подбежав сзади, схватив за локти; они не оказали сопротивления. Были студенты или верней ученики Консерватории. Я и тогда подумал:

они правы. Пусть не поведением, но своей оценкой они явили себя, в царстве музыки, аристократами, а те рукоплескавшие, в нижних ложах и первых рядах - плебеями, маскарадно разряженной толпой жалких музыкальных оборванцев.

Без такой аристократии, музыка (и любое искусство) не может не превратиться в пойло, выливаемое в корыто для поросят, но тогдашние даже и поросята естественному отбору, необходимому для культуры, еще не стремились, да и средств не имели помешать. Случай, рассказанный мною, был единственным в своем роде. Нельзя было себе и представить, чтобы, например, недавно умерший в глубокой старости испанский виолончелист Пабло Казальс, которого я уже в те годы слышал в Петербурге, вздумал бы дешевкою блеснуть, крейслеровы вольности себе позволить. Да и никто их себе не позволял, а Казальс, один из первейших исполнителей-музыкантов нашего века, смолоду поражал образцовой строгостью, как исполнения своего, так и выбора. Не виртуозничал никогда, никогда не производил насилия над интерпретируемым автором, и тем не менее вкладывал в свою интерпретацию всю полноту возможного, в данном случае, музыкального выражения и смысла.

Не буду перечислять пианистов, слышанных мною в те годы, иноземных или собственных наших, с Рахманиновым во главе. Назову лишь двух, - по контрасту: неизменно корректного в истолковании любого автора, скромного, никогда не любовавшегося своей игрой Гофмана, и беззаконного, безумно самоуверенного, истолковательским своеволием способного либо непримиримо против себя восстановлять, либо зачаровывать до полной потери критического чувства, непозволительного, но изумительного Ферручио Бузони.

Гофмана так у нас любили, так привыкли к нему, так часто (каждый год) он к нам приезжал, так много у нас играл, что и слышно было всегда Гофман да Гофман: я даже не помню его имени. Если любить фортепьянную музыку ради нее самой и ради авторов, писавших для фортепьяно, нельзя было не любить и Гофмана. Он играл Бетховена так же хорошо, как Шумана, Брамса так же хорошо, как Шопена. Он играл все "как нужно", так что мы, слушая его, всегда слушали композитора, играемого им. Быть может и уступал он Крейслеру во владении инструментом (если забыть о разнице инструментов), но зато не

опускался никогда до оказательства одного этого "владения". Гениальным, однако, и самые ревностные поклонники его не называли. Бисировать заставляли много раз, подносили цветы, осыпали его цветами, благодарили, чуть ли не в слезах, за музыку осуществлявшуюся им, но в Гофмане не искали Гофмана. Так, разумеется, и нужно. Таким был, с еще большей убедительностью и силой, с истинным величием Казальс. Но, как это ни прискорбно, онемеченный тот итальянец, из Лейпцига (как Никиш) сердца наши, пусть и разуму вопреки, покорил, и я, через шестьдесят лет, помню Бузони как самого необыкновенного музыканта, которого довелось мне услыхать.

О композиторе не скажу ничего: не знаю, чтó сказать. Он играл себя, как и других, заслоняя играемое игрою.В ту зиму, между двенадцатым и четырнадцатым годом, когда он впервые к нам приехал, Гофман только что дал последний из своих двенадцати концертов, в полном, - как и теперь он был полон, для Бузони, - зале Дворянского собрания. В программе того вечера была "Тарантелла" Листа, сверх-виртуозный, но и подлинно блестящий пустячок, сыгранный Гофманом превосходно. Бузони, преднамеренно, может быть, на первом их двух своих вечеров, сыграл ее на бис. Она стала неузнаваемой. Гофман играл на рояле. Этот - вдвое крупней, величественно седой не только мастер, но и обладатель чего-то, что страшней любого мастерства - играл на непонятном инструменте, имевшем вид рояля, но не звучавшем, как рояль. Долгая трель на верхах стала немыслимо долгой, и нельзя было поверить, что выбивают ее на двух клавишах человеческие пальцы; как и ни на что не было похоже испытанное нами облегчение и счастье, когда коснулась, наконец, с бесконечной нежностью, клавиатуры могучая левая рука. Куда исчезла прежняя "Тарантелла"? Где Гофман? Нигде; в небытии.

На том же или следующем концерте, все двадцать четыре прелюда Шопена были сыграны почти без пауз между ними и почти все в одном темпе, бешеном, бурном. Но двадцать второй был сыгран так, что я рваные эти аккорды, это их растущее, убийственное нагроможденье только так и слышу по сей день; не могу и не хочу слышать по-другому.

- Гениальность следует воспретить, а уж исполнительскую тем более.

- Не всякую, нет. Но и эту... Неужели так жизнь и прожить, вовсе ее не узнав, силы ее не испытав? Нет, не могу ни забыть, ни проклясть тогдашнего моего полусумасшедшего восхищенья.

Скрябин

Был он светлый блондин, тоненький, небольшого роста, как перышко легкий; лицом и всем обликом нечто среднее между ангелом и парикмахером. Никаких усилий не стоило представить его себе с завивальными щипцами на цыпочках семенящим за спиной дородной купчихи, прочно воссевшей перед зеркалом. Походка его была легчайшая, и веса до того был лишен, что, играя на рояле, не иначе фортиссимо давал, как высоко подскакивая над клавиатурой. Наружность его была поэтической и мнимо-поэтической, претендующей на поэтичность, одновременно. Одно соответствовало его музыке, другое - сомнительному вкусу во всем, что́ не было музыкой, - в поэзии, в туманных мудрствованьях и попросту в стихах. Те, что́ написаны им были для неосуществленного его Gesamtkunstwerk'a , где музыка и слово должны были сливаться с переменчивой игрой света и подвижной красочной гармонией, беспомощно подражали худшему, что́ было у Бальмонта (поэта крупного, но совершенно лишенного критического чувства в отношении собственных стихов). Уже заглавия иных его произведений, вроде "Поэмы экстаза" - бальмонтизмы, и пустозвонные к тому же, но музыку поэмы укорять в пустозвонстве нам это никакого права не дает. Музыка Скрябина со стихами Бальмонта ничего общего не имеет. Она парадоксально вырастает из Шопена и стремится вместе с тем далеко забежать вперед по линии, идущей от Вагнера к Рихарду Штраусу и, быть может, далее. Но линия оборвалась. Скрябин, в отличие от Стравинского и даже от Прокофьева, был отодвинут в сторону, оказался на запасном пути, был одно время почти полностью забыт. Нынче о нем вспоминают. В мировой музыкальной распутице, где все главные линии, смешавшись, уперлись в тупик, это быть может лишь временный возврат на один из многих запасных путей. Не знаю. Историю не пишу. Пытаюсь сквозь толщу полувека в те годы заглянуть, когда не Стравинский и не еще более близкий мне по возрасту Прокофьев, а именно Скрябин был самым значущим для меня из новейших русских композиторов.

Давно я эту музыку не слушал. Но в те давние времена

воспринимал ее с большой живостью и жадностью. Скрябин и сам этому помогал: был несравненным исполнителем своих фортепьянных произведений. Чужих, в отличие от Рахманинова, на два года младшего сверстника своего, он никогда на своих концертах не играл. Фортепьянное мастерство его было незаурядным, но и особенным, на его собственную музыку нацеленным. Консерваторские ученики старших курсов ходили к нему на дом, упросив его дать им несколько уроков по использованию левой педали, которой пианисты предпочитают обычно совсем не пользоваться, но которую он применял с исключительным уменьем. На своих вечерах, в малом зале петербургской Консерватории, он играл свои вещи волшебно. Так их играл, как будто тут же, в нашем присутствии, их сочинял. Когда он умер, тридцати четырех лет от роду, в пятнадцатом году, проболев всего три дня (он расцарапал себе прыщ на носу и умер от заражения крови), был устроен большой поминальный концерт, на котором его произведения для рояля играл Рахманинов. Играл, разумеется, хорошо; никто их лучше бы не сыграл; но со скрябинской его игра никакого сравнения не допускала. Казалась, пусть и несправедливо, мертвой или обманно пытающейся возвратить скрябинской музыке утраченное ею бытие.

Музыка эта - я думал и думаю - не одна фортепьянная, вся, из фортепьянного звучанья, из фортепьянных возможностей музыки, совсем как у Шопена, и родилась. Из шопеновской родилась именно в силу того, что и Шопен был прежде всего композитором-пианистом. Вероятно и его игра производила впечатление импровизации, - оттого слышавшие его в недоумение и впали, когда услышали, как Лист его играл. Он очень мало написал для оркестра, и всегда это было для рояля с оркестром. Скрябин такого самоограничения не захотел. Он много писал для оркестра, изучал усердно оркестровку, открывал в ней новые пути, а все же оставался пианистом, умудрившимся "играть на оркестре"; и не случайно, в наиболее зрелом его оркестровом произведении, "Прометее", партии рояля уделена такая значительная роль.

На премьере "Прометея", в переполненном Дворянском Собрании, я видел, как подскакивает Скрябин на своей

вертушке: удавалось-таки ему, где нужно, перекричать громовой голос оркестра вздребезжавшим ввысь бешеным рояльным голоском. Потрясал "Прометей"; глагол этот многотерпеливый тут незаменим. Когда поднялось, незадолго до конца, неслыханной силы крешендо, я не мог усидеть на стуле, встал, и увидел: там и тут, другие, не столь юные, как я, тоже поднялись со своих мест. Не считаю - и тогда не считал - такую степень воздействия критерием оценки, но пустоты, в этом грохоте и звоне, в этом выдыхе труб, исступлении скрипок, отнюдь я не ощутил, не устыдился своего порыва, и поэтому, как вспомню, умиленно вижу и сейчас руки легонького человечка, с высоты бросающего их на клавиши.

"Тристан"

Вагнеровский "Тристан" под управлением Феликса Моттля, в начале 1913-го года, был событием в музыкальной жизни Петербурга. Событием был и в моей жизни, не музыкальной - какой же я музыкант? - но в жизни моей вообще (внутренней, конечно, а не внешней). "Вагнерианцем" давно перестал я быть, от этого первого увлечения моего еще в молодости отошел, хоть и дорого мне осталось многое в музыке "Кольца" или "Парсифаля"; но "Тристана" я и вообще не превозмог. Слушать его не могу и теперь без особого, им одним вызываемого во мне волнения, как и не могу не сравнивать любого исполнения его с тем, моттлевским, в Мариинском театре. Всех Изольд сравниваю с Черкасской, всех Тристанов с Ершовым, и нахожу непревзойденным и его, несмотря на сдавленный его голос, не говоря о ней, и вовсе не верю, что возможно превзойти Моттля, которого никто - для меня - не заменил, и уже наверное не заменит никогда.

Поставлен был у нас "Тристан" - Мейерхольдом, с декорациями Шерванидзе - очень хорошо. В обход вагнеровским ремаркам, палуба первого акта, сад второго, корнуэльские скалы третьего были даны очень обобщенно, без того раздутого и самохвального реквизита, что уже в замысле вагнеровских драм, и еще больше в тогдашних их постановках, так вредил их сценическому воплощению. Я присутствовал на премьере "Тристана", за год приблизительно до приезда Моттля, при тех же певцах и том же оркестре, сухо, но компетентно управляемом Направником. Все было на месте. Все было не просто хорошо: чудесно. Мой восторг и тогда был велик. Даниил Ильич проиграл мне заранее всю эту музыку на рояле, даже и пропел мне ее почти всю. Научил и меня играть те страницы клавираусцуга (вступление, например), что́ были доступны слабому моему уменью. Зачарован был я уже "Тристаном", но эти чары лишь предварительными оказались, когда выписан был из Мюнхена мясник-чародей и неведомым волшебством околдовал оркестр, околдовал певцов, а сквозь них, сквозь каждый голос инструмента и певца, сквозь весь стоголосый оркестр, околдовал и всех, кто слушал вместе со мной совсем по-новому зазвучавшего "Тристана".

Нет, не совсем по-новому. Не переделывал его Моттль, не истолковывал произвольно на новый лад, да и нашего прежнего не исправлял: ничего не было в до-моттлевском нашем "Тристане" ошибочного, неверного. Просто-напросто (так мне казалось)превращение потенциальной его музыки в актуальную не было доведено до конца, остановилось на полпути, а теперь Моттль дал ей полноту ее самой, полноту ее осуществленного звучанья. Как он принялся за это дело я через несколько дней узнал от Данички.

Он потребовал одной лишь репетиции, - накануне торжественного дня. Обратился перед ее началом к оркестрантам и певцам, чтобы попросить их играть и петь точно так же, как они это делали до тех пор: "Я прослушаю вас от начала до конца; дирижировать не буду; буду просто, для вашего удобства, отбивать такт, а вы мне показывайте ваши темпы, замедления, ускорения, переменную силу звука; я все это приму на учет". Все были озадачены: такого еще не бывало; но повиновались, и Моттль остался доволен. Всех похвалил, наговорил комплиментов Направнику, сказал, что такой Изольды как Черкасская, в Мюнхене у него нет, отметил точную и дружную игру всех оркестровых групп и отдельных музыкантов, а затем деловито, но и добродушно пояснил, что у него есть свои затеи, а быть может и причуды, что вступление пойдет чуть ли не вдвое медленнее, чем обычно, что оркестр в конце будет греметь еще громче, но что - "у вашей Изольды хватит голоса его покрыть, и, gnädige Frau , надо его покрыть", что все остальное почти не касается певцов, тогда как оркестру следует знать, что там-то и там-то будут такие-то перемены. Речь заняла разве что двадцать минут. Закончив ее, он обратился к флейтисту, в третьем акте играющему solo на коротенькой флейте, именуемой английским рожком, и сказал ему, что прекрасный он солист, играл безупречно, но что пусть он его, старика, простит, если дирижерскую палочку свою он и во время его игры, вопреки обычаю, не положит на пульт, а будет продолжать ею махать, как это делает, по давнишней привычке, у себя, в Мюнхене. Разошлись после всего этого музыканты не без недоуменья, и, конечно, в напряженном ожидании.

Не было ни одного пустого кресла, были полны все ложи. Огромная люстра блистала хрусталем. Оркестранты уже сидели на своих местах. Краснорожий, толстоносый Моттль, еще более неуклюжим казавшийся во фраке, чем в пиджаке, мешковато раскланялся, сел тяжело за пульт, оглядел довольно строго музыкантов. Огни потухли. Странным, кривым, назад берущим жестом дирижера началось - невероятно тягуче, изнуряюще медленно - вступление. К середине его, у меня дрожали колени, я готов был разрыдаться; но нет, другим волнением, волнением-восхищением была побеждена эта нервная, физическая взволнованность. Не представлял я себе, да и едва ли кто другой себе представлял, что такая растянутость звука вообще достижима, но почувствовал сразу (и опять таки, конечно, не я один), что она-то именно и нужна, что суть всем сплетением этих созвучий именно в ней, а позже узнал о музыкантах оркестра, что, по их чувству, она ими, но не их волей была достигнута: их воля всецело была заменена непреодолимой волей дирижера. С первых же тактов воля этого столь прозаического по виду человека проявила совершенно неожиданную гипнотизирующую силу; и они своего изумления не скрыли, говорили о нем Похитонову, понять не могли, почему они в тот вечер так хорошо играли, с таким к мучению близким наслажденьем, так именно, как нужно, и так, тем не менее, как прежде не гадали, не думали играть. А солист, укладывая свой английский рожок в футляр, сказал: "Даничка, не знаю, что он со мною сделал; взглянул на меня, протянул руку, чуть заметно показал, как должна начаться моя мелодия, и я вдруг ощутил ее по-новому, весь ушел в ее одиночество и грусть... Никогда я больше <u>так</u> играть не буду". Он отвернулся; слезы у него выступили на глазах.

Музыка любовного напитка не меньше вступления изнурительна была, по натянутым нашим внутренним струнам смычками водила; долгий дуэт второго акта всю силу своей бури и всю глубину своего изнеможения теперь явил; как и всю грусть свою излил тот пастуший рожок, а радостная его тема - как и следует - показалась еще грустней, печальней. И вместе с Тристаном, в нескончаемой предсмертной его

истоме, ожидали мы на корнуэльских скалах корабля, и в любовной смерти Изольды любили, умирали, приподнялись, как со смертного одра, в последнем восхождении к реву и грому и струнному вихрю оркестра, к несравненной чистоте и силе голоса Черкасской - над ним, свободно, высóко над ним...

Конец. На границе выносимого всё это было, как бывает в искусстве, ищущем вырваться из мира, без осознания его границ, без веры в его устойчивость и соразмерность. Я вернулся домой - как и многие другие, должно быть - весь пропитанный этой музыкой и небывало утомленный. Не распрощался я с этой музыкой никогда; и с Моттлем распрощался тоже не сразу. Через год он снова приехал в Петербург. Еще раз я слышал его "Тристана", но теперь в последний раз. Он простудился у нас; вернувшись к себе, слег; умер через несколько дней. Прежде, чем везти его гроб на кладбище, поставили его на катафалк в Принцрегентен-театре, и оркестр,под управлением его ученика, исполнил Траурный марш из "Гибели богов".

Мир искусства

Году в девятьсот десятом пятнадцатилетнему мне начал открываться мир искусства. Только начал; не сразу открылся, а частично, в проблесках, открывался и раньше. Но ближе всего к истине останусь я все же, если этим годом помечу начало моей жизни в нем.

Жил я, конечно, и обыкновенной, житейской жизнью, в мире вполне реальном и не особенно благополучном; в столичном городе Петербурге; в России начала двадцатого столетия. Жил, как все, как мои сверстники жили; но начал жить и в мире искусства, где прожил затем всю мою долгую жизнь. Все люди в этом другом мире не живут; утверждать, что все в нем живут - прекраснодушие или низкопробно-политиканствующая ложь. В мире, где искусство еще не названо этим именем, оно или то, чем оно питается и что его заменяет, с жизнью слито, нераздельно от нее. Так живут дети и жили народы, покуда их не коснулась научно-техническая цивилизация. Общество, этой цивилизацией проникнутое, такого недифференцированного мира не знает, а мир искусства знает; но не все люди, это общество образующие, в мире искусства живут. Не в праздники или на каникулах живут, а постоянно; хотя целиком, двадцать четыре часа в сутки не живут в нем и величайшие художники. Остальные, либо знают о нем по наслышке, либо не знают о нем ровно ничего. Среди современников моих и сверстников, иные там - в какой-то мере - жили, а другие не́ жили. Но дело-то в том, что современники мои чаще и больше жили в мире искусства, чем их деды и отцы. А мои сверстники чаще и больше, чем люди, даже и не очень на много их постарше.

В начале нашего столетия, в столичном городе Петербурге, как и в столичном городе Москве, а также и в других городах, покрупней и поживей, российского нашего государства, жизнь менялась быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Во многих отношениях менялась, но также и в самом, для людей вроде меня, важном: те, кто причастны были миру искусства, и прежде стали в него втягиваться глубже и сильней, а из непричастных многие стали кое-что о нем узнавать, влечение к нему испытывать, а то и без оглядки в него вовлекать-

ся. Я же говорю о "практикующих" (весьма пресно выражаясь) то самое, чем этот мир живет и чем он к себе влечет, а попросту об увлеченных, в ряды которых стал затесываться и я, тут-то и узнав, что больше становилось этих людей, по их же словам, чем их было еще недавно, и что глубже врастали они в тот мир, куда и я с ними врастал.

Так что (подумают) говорю я не о художниках, а о любителях, дилетантах, об эстетах. Нет, об эстетах не говорю. Это особая порода, хоть и среди тех же млекоядных или плотоядных, если молоком и плотью называть то, что искусством мы зовем. Но пенкосниматели они. Слижут пенку - этим и довольны. Я же и молочных пенок никогда терпеть не мог, а в искусстве казеином, сутью его, питался, а не пенкой. И если я (в первую очередь) не о тех, кто пишет, а о тех, кто глядит на картины, говорю, не о стихотворцах, - о читателях стихов, не о композиторах, - о посетителях концертов; то ведь, во-первых, и композиторы посещают концерты, и стихотворцы читают сборники чужих стихов, и живописцы глядят не на свои лишь собственные картины; а, - во-вторых, именно рост внимания и любви к искусству - основная черта тех лет, когда и я вниманию этому учился, когда проснулась и во мне эта любовь. Не проснись она заново в те годы у многих, в том числе и у самих людей искусства, которые, во времена дедов наших и отцов, любили в нем порой вовсе не искусство, не были бы годы детства моего и юности тем, чем они были - не для одного меня, а для всех тогдашних "нас".

Годы моего детства, а не только юности. Конечно, началось новое это, обещавшее начать новую эпоху, уже и до моего рожденья (и кроме того, в области истории культуры, никаких точных дат не может быть, ни для начал, ни для концов). Уже и в восьмидесятых годах - чтобы один лишь пример привести, живописью ограничась - Врубель, в своих киевских работах, передвижников сдал в архив и шестидесятничеству положил конец. А в девяностых, многое, в живописи, как и в поэзии, с будущим роднилось куда отчетливее, чем с прошлым.

Первый номер журнала "Мир Искусства" вышел в октябре 1898-го года, последний - в конце 1904-го; мне и тогда было всего девять лет. Главные сотрудники и редакторы журнала

были, кроме того, небезизвестны будущим читателям его и прежде, а с его концом деятельность их, не говоря уже о продолжателях их дела, далеко не кончилась. Я же еще добрых шесть лет в отроческой дремоте пребывал. Настоящим свидетелем уже начавшейся эпохи стал лишь когда наибольшего расцвета она достигла, и когда оставалось всего четыре года до войны и семь до "Октября". О журнале, однако, не напрасно я упомянул, хоть и читал его лишь задним числом, лет через восемь или десять после того, как он кончился. Были другие журналы... Но заглавие его найдено было верней, в точку попало лучше, чем все их заглавия вместе взятые. И все искусства он обслуживал, включая музыку и литературу. Он мир искусства, всякого искусства, открывал, как людям, уже нашедшим доступ к нему, так и людям, о существовании его до тех пор и не подозревавшим.

Мир искусства в начале десятых годов

К началу десятых годов, мир искусства, в пределах отечества нашего, настолько разросся и похорошел, что уже и сравнения почти не допускал с тем скудным бытием, каким приходилось довольствоваться ему в предпоследнее, да еще и в последнее десятилетие прошлого столетия. Дело тут не в единицах, каких бы множеств они весом или сиянием ни превосходили. Достоевский был давно в могиле; Толстой ушел из "Ясной поляны" и от нас в девятьсот десятом именно году. Тогда же умер и зачинатель новой живописи, Врубель. Чехова не стало уже в девятьсот четвертом, Левитана, им любимого, за четыре года до него. Но если, например, те двое, величайшие писатели наши, оба, несмотря на разные сроки своей жизни, прошлому, а не новому веку принадлежат, то ведь их размеры опознали, их мысль, их искусство по-настоящему начали понимать только в новом веке, или накануне его начала. Прежде всего, их искусство. Читали их и раньше, увещаниям их следовали пусть и нехотя или по-медвежьи, но понимали увещания эти очень хорошо. Зато насчет искусства Достоевского, ничего не нашел поумнее умирающий век сказать, чем "жестокий талант"; а искусством Толстого восхищались все наперебой (после того, как шестидесятник умолк, объявивший "Войну и мир" росказнями подвыпившего унтер-офицера), но восхищались, как образцовыми , без ретуши,снимками их самих, их быта, их Карениных, их Анн.

Искусство теперь полюбили, даже и в литературе. Подумать только! Как бы в гробу перевернулись, узнав это, несравненные трое, ВЕЛИКИЕ наши критики! Ведь и меня, как и сверстников моих, еще продолжали пичкать на школьной скамье все тем же "лучом света", все той же "реальной" критикой, "являющейся исследованием жизни". Но пищи этой мы уже не принимали, а светом интересовались - поскольку о театре идет речь - главным образом тем, которым рампа освещает сцену. Да и сукно наскучило нам просвещенных, якобы, речей, с таким, например, применением глагола "являться", какого привел я образец (увы, не пришлось его и сочинять).

Теперь, однако, задам я себе ехидный вопрос, не ко мне

одному обращенный, но и ко всем, кто со мной заодно, в мир искусства войдя, или дверь туда приоткрыв, взяли да и отреклись, как совсем другая песня им внушала, "от старого мира". От старого века отреклись, и присягу принесли новому веку. Да и сам я что ж, одного лишь искусства, что ли, от искусства захотел; увещания всяческие отверг; луч света на углекалильные лампочки, что в рампах горели, променял? Спрошу, задумаюсь - много лет я об этом думал - и скажу: "искусство" - коварное слово; оно запутывает мысль. Одного искусства в искусстве искать, это значит подменять его эстетикой; высказанное художником (на языке любого искусства) слово - эстетическим объектом, доставляющим удовлетворение мне (зрителю, слушателю, читателю), а то и без всякого удовлетворения - что нередко случается в нашем веке, эстетически одобряемым мною. За что? Чаще всего за неожиданность и новизну. На этом пути пенкоснимательство и опустошение всех нас и подстерегает. И нельзя отрицать, что именно в нашем веке подстерегают они нас ловчей и улавливают успешней, чем в любые предшествующие века. Но разве простое зачеркивание искусства в искусстве, простая замена искусства тенденциозной фотографией, для красного словца именуемой (например) социалистическим реализмом, чем-нибудь могут здесь помочь? Разве у фотографии есть этика, дополняющая эстетику? А в социализме, покуда он не осуществлен, если и есть привлекательные этические черты, они тем не менее, при наклейке на фотографию, превращаются в пропаганду, а не в искусство.

Писарев нас от эстетствующего почитателя Уайльда, с зеленой гвоздикой в петлице, не спасет. В конце концов, и "Ананасы в шампанском" ничуть не больней оскорбляют поэзию, чем стихи Надсона или Ратгауза. Попутчик Северянина, Грааль Арельский, поэт "серебряного века", меньше ее оскорблял стихами, бытием и даже именем выдуманным своим, чем Аполлон Коринфский, до-серебряный поэт, печатавший вирши свои в "Новом Времени", или Демьян Бедный, до и после "Октября", печатавший свои в "Правде". Умеренней оскорблял ее жеманной своей прозой, скажем, Ауслендер (имечко-то какое! Сразу видно: безродный космополит!), чем своей, суконной, Баранцевич или Шеллер-Михайлов, или

нынешние их потомки, еще суконней пишущие, чем они. А ведь оскорблять поэзию - злодеяние, этике подсудное столько же, а то и больше, чем эстетике. Вовсе без поэзии, или с поэзией замызганной и фальшивой, ведь и человек - не совсем человек. Этого только те не понимают, кто этику подменяют тощим морализмом, а то и политиканством, притворяющимся этикой. В конце девяностых, особенно же к началу десятых годов поняли это у нас сравнительно многие.

"Искусство" - опасное слово. Но "мир искусства" - менее опасное. "Мир искусства", что это такое? Да ведь это просто культура, за вычетом точных наук и техники, питаемой ими, - всего того, чего, в былые времена, возможно было из нее и не вычитать, но что за последние два века все дальше отходит от человеческого понимания и воссоздания мира, оставаясь, конечно, внутри того, что мы зовем цивилизацией, и что стало, за эти два века, научно-технической цивилизацией. Мир искусства, это культура. Но при одной оговорке: покуда в этом мире родятся, или хоть дружно живут, или хоть помнят друг о друге искусство и религия. Религия без искусства немеет; искусство без религии - эстетствует и опустошается. Это у нас тоже поняли некоторые, - пусть и смутно, - тогда же, в начале десятых годов.

Мир искусства, в узком смысле слова

"Искусство", в узком смысле слова, это архитектура, живопись, скульптура и совокупность прикладных искусств, - которые можно называть и декоративными, как их называют французы. Архитектуру, правда, не всегда и не повсюду объемлет это слово. Не всякая архитектура - искусство. Это стало особенно ясно за последние двести лет; но простейшие виды построек и прежде к архитектуре не причислялись. Зато архитектура как искусство, архитектурное искусство, играло и в прежние времена очень большую роль, и вообще, и в отношении к другим искусствам. Архитектура их в себе объединяла и ими руководила, даже когда они внешне отделялись от нее. Ею всего очевидней и могущественней осуществлялся тот стиль, который осуществляли все другие искусства, - как прикладные, так и те, что́ всегда обладали бо́льшей самостоятельностью. Но к началу прошлого века и живопись со скульптурой, и прикладные искусства, совсем от архитектуры отделились, даже и стилистически, по той простой причине, что архитектура и сама лишилась стиля. Но, конечно, в мире искусства, в представлениях людей, к искусству причастных, она продолжала быть искусством - если не новая, то старая, - и проснувшиеся мои соотечественники проснулись и для нее, как и для прочих всех искусств. Но первенствующую роль в пробуждении этом сыграли, на первых порах, не эти прочие, не поэзия, даже, среди них, а искусство, в узком смысле слова. Перемены, обозначившиеся в нем, оказали влияние и на многие другие перемены в области театра, например, где "постановка", и в частности вся зрительная ее сторона, изменилась решительней, чем драматургия. Да и внимание, живой интерес к искусству, возрос быстрей, чем такой же интерес к стихам или музыке, об остальном и не говоря. Музыку и прежде любили; почитывали и стихи (пусть и скверные), а интерес к искусству был слаб; интересовались им лишь со стороны сюжета, что так же, но еще очевидней зачеркивает искусство, как интерес к одним эстетически оцениваемым его качествам (даже когда вся эстетика сводится к требованию неожиданности и новизны).

До этого, однако, к началу десятых годов, дело еще не

дошло. Борьба шла между старым и новым, как она идет всегда, хоть и на много живей, чем в предыдущие годы; но, во-первых, младшие со старшими сражались теперь, добиваясь новой оценки не только новизны, но и старины; а во-вторых, темы, сюжеты, предметы искусства - не старого, несомненного, но сомнительного вчерашнего - отвергались молодыми, не ради чистой их отмены, а ради их замены другими темами, предметами и сюжетами. Оба эти стремления опять-таки сказались в искусстве даже и отчетливей, чем в литературе, не говоря уже о музыке, где сюжеты или предметы большой роли не играют (хотя, чтобы они никакой роли не играли, о музыке, и особенно о русской, сказать все-таки нельзя). И тут усилился интерес к старинной музыке (до середины XVIII -го века), и в литературе к до-романтическим формам или жанрам; но в искусстве этот интерес к прошлому - к далекому или сравнительно далекому прошлому - сказался еще шире и острей.

Уже для журнала "Мир Искусства", всего ясней отразившего начало перемен, было характерно, что он стариной интересовался столько же, сколько и новизной, и что к последним двум его годам, искусство, в узком смысле слова, стало в нем явно над всем прочим преобладать. Но любопытно, что позже то же самое произошло и с журналом "Аполлон", выходившим в Петербурге с 1909-го до 1917-го года. В девятом и десятом году литература занимала в нем большое место, с 1911-го вытеснила ее живопись. Количество воспроизведений значительно увеличилось, качество их улучшилось. Иностранным художникам, французским прежде всего, уделялось столько же, если не больше внимания, чем русским. Преобладало искусство современное, но говорилось много и о несовременном, если редакция своевременным считала о нем заговорить. Я впервые, читая "Аполлон", познакомился, в юности, с двумя стародавними живописцами, не представленными в Эрмитаже, Иеронимом Босхом и Вермером. Подписался я на журнал как раз в 1911-ом году, когда не исполнилось мне еще шестнадцати лет. Обложка, по рисунку Добужинского, в которой он с этого года выходил, каждый месяц меняла цвет, и каждый месяц по-новому меня пленяла. Перелистывал я его, картинки разглядывал, да и текст, разумеется, читал с жадностью, и - что греха таить - с тайной некоторой гордостью: вот, мол, какой я культурный

молодой человек; не все мои школьные товарищи "Аполлон" читают; не все искусством интересуются; не все знают кто такой Иероним Босх, или кто такой Сезанн. Если это называть снобизмом, значит, я был снобом. Но и теперь, через шестьдесят лет, думаю, что без снобизма этого рода никакая культура в обществе (все равно русском или нерусском), какое существовало тогда, и, при всех переменах, продолжает существовать теперь, попросту невозможна.

Мой отец ничего о Иерониме Босхе не знал, о существовании журнала "Аполлон", до того, как я попросил денег, чтобы подписаться на него, не слыхал, но деньги дал, и когда только что пришедший январский номер я в его кабинете разглядывал, сам перелистнуть его не захотел, но глядел на меня с ласковой, отнюдь не желавшей охладить мой жар, улыбкой. Даже не с моей точки зрения, а со стороны глядя, был он прав. И никогда не осуждал я его за то, что он сам "Аполлоном" не заинтересовался. Благодарность к нему чувствовал, которую ощущаю и сейчас. Когда он был молод, в России ничего похожего - даже по внешности - на "Аполлон", на "Старые годы", на "Золотое руно" (выходившие до "Аполлона" в Москве), на такие чисто литературные журналы, как "Весы" (тогда же выходившие, но раньше начавшиеся, там же) вовсе не было. Скорей уж приближалось к ним кое-что в далекие пушкинские времена. Нынче же, в девятьсот одиннадцатом году, было и без меня много в России гимназистов, и тем более студентов, которые, вовсе не готовясь сами стать живописцами (быть может, как я, не умея вовсе и рисовать), проявляли к живописи и к искусству вообще, горячий интерес, посещали выставки и музеи, читали тот же "Аполлон", рукоплескали в театре декорациям, порой и до того, как актеры выходили на сцену. Его пращура, журнала "Мир Искусства" давно не было. Но сами-то мы начали жить в мире искусства, как отцы наши в нем не жили: целой значительной частью нашего существа.

Наше прежнее и наше новое искусство

Искусство XIX-го века, во всех странах Европы и Америки, отличалось от искусства предыдущих веков всего больше тем, что производило необыкновенное количество хлама, - особого хлама, которого прежде не было. Слабое, бледное рождалось всегда, но ничего столь крикливо несуразного, смесью разных языков высказанного, никогда и нигде на свет не появлялось. Сам прошлый век долгое время перемены не замечал. Хлам настоящей живописью считал, настоящей скульптурой; полагал, что его художественная промышленность ничем не уступает старинной или недавней (предыдущего века), и даже принимал всерьез собственную архитектуру, - вокзалы, подражавшие романским церквам или греческим храмам, готические заводы, товарные склады или бойни отделанные под ренессанс, под рококо... Утраты стиля, сделавшей все эти подделки и бессмысленные применения старых форм возможными, не чувствовал. Качественной разницы между живописью Тенирса, больше того: Броувера, и жанровыми сценами Мейсонье, Кнауса или Маковского (Владимира, но и Константин был не лучше) еще и к концу своему приближалось, продолжал не замечать.. И если бы "мы" - не теперешние мы, а "мы" 1910-го года - оказались чудесным образом посетителями отдела искусств Первой Всемирной выставки в Париже (1855), мы бы там, пусть не от всего, но от очень многого отшатнулись бы в ужасе, и не иначе назвали бы это многое, как хламом.

Общепринятого имени для <u>этого</u> хлама не существует. Немцы называют его "китч". Словечко это, неизвестно откуда взявшееся и во всяком случае недавнее, все права гражданства приобрело лишь в начале нашего века. Оно выразительно, и легко переходит в другие языки, которые постепенно и заимствую его у немцев. У французов есть забавное слово "помпье", но украсть его трудней; да и применяют они его лишь к живописи и скульптуре. Значит оно "пожарный". Ученики Давида и питомцы Академии, обучавшиеся у его учеников, избирали чаще всего для своих исторических картин греко-римские сюжеты, а их неприятели, романтики или реалисты, шлемы этих древних

воинов высмеивали, Ахиллов этих и Брутов пожарными обзывали. А к концу века всю вообще Академией и Салонами поощряемую, орденами и премиями награждаемую живопись (как и скульптуру), художники решительно с ней порвавшие и ее презиравшие (Курбе, импрессионисты, преемники импрессионистов) стали относить к некоему стилю "Помпье". Что́ при этом, однако, с полной ясностью не сознавалось, это что слово "стиль" в этой кличке еще больше издевательства в себе содержит, чем намек на исчезнувшие к тому времени даже из наисалоннейших картин пожарные каски. Живопись эта, как и скульптура, никакого "стиля", конечно, не образует, она в основе своей эклектична, и проистекает как раз из смешения стилей, или верней из смешения несовместимых друг с другом принципов изображения и приемов письма, восходящих к двум различным фазам того подлинного стиля, что́ родился в Италии, в эпоху Возрождения, и угас повсюду в Европе к концу XVIII -го века.

Неоклассицизм (и "ампир") был попыткой вернуться к той его фазе, которая перешла в следующую, за три века до того. Успехом попытка эта не увенчалась, но дала еще немало художественно ценного (у нас, например, архитектуру Захарова и Росси, или живопись Кипренского, Венецианова) главным образом благодаря пережиткам другой, три века длившейся фазы того же стиля еще не исчерпавшей своих возможностей, в области живописи и (менее отчетливо) скульптуры. Начиная, однако, с тридцатых, самое позднее сороковых годов, беспринципное да и вовсе не осознанное смешение двух стилистических систем - линейно-пластической и живописной (оптической) - захватило целиком всю европейскую живопись и скульптуру, а в архитектуре и прикладном искусстве воцарилось подражание любым стилям вообще, и смешение чего угодно с чем угодно. Такое смешение, вместе с опроставшимися - удешевленными - понятиями о правде, поэзии и красоте, именно и порождает китч, как и торжествует во всех разновидностях академического или салонного "помпьеризма". Но, конечно, никакой строго определенной, наукой проверяемой черты между живописью, из рук вон скверной, и живописью, хоть и не очень радующей глаз, но приемлемой, как и между этой последней и совсем хорошей, провести нельзя.

Во Франции всего ясней обозначилась пропасть между жи-

вописью немногих мастеров, продолжавших и обновлявших традицию "живописной" (оптической) живописи от Делакруа и Коро до импрессионистов, Сезанна, Матисса, и всей остальной, - той, что пользовалась признанием, успехом, выставлялась в Салонах, покупалась для музеев. И это вопреки тому несомненному факту, что и Делакруа, и Коро, и Мане, и Дега в Салонах участвовали, были признаны еще при жизни, и даже тому, что кое-какие следы стилистической неуверенности можно подметить и у них (меньше всего, пожалуй, у Мане). А с другой стороны, были во Франции живописцы, ни к салонным полностью не примкнувшие, ни к антисалонным, и которых ничтожествами, как и многих сравнимых с ними нефранцузских, счесть нельзя. Но тем не менее, такой династии художников, почти или совсем назатронутых бесстилием и китчем, как та, что пусть и непризнанно царила во Франции от Делакруа до Матисса, ни в какой другой стране не было. Не было и у нас.

В прошлом веке у нас (как и повсюду) никто этого не понимал. "Последний день Помпеи" казался всем, в том числе и Пушкину, триумфом русской живописи; но сравнить можно эту картину всего лишь с Деларошем; повесить огромный этот холст рядом с подобных же размеров холстом Делакруа нельзя. Александр Иванов был гениально одарен, но сказался этот гений в непонятых его современниками, да им и неизвестных, библейских акварелях последних его лет, а не в совершенно замученном им, и столь же двойственном по стилю, как и картина Брюлова, "Явлении Христа народу". Достоевский восхищался Владимиром Маковским и считал "Фрину" Семирадского подлинным, хоть и нежелательного ему направления, живописным "шедевром". Перов был сверстником Мане. Репин был моложе и Ренуара и Сезанна; он побывал в Париже; но для него, как и для прочих передвижников, так таки до конца никаких Мане, Ренуаров, Сезаннов не существовало. Курбе, пожалуй, и существовал, но кто же из них, по примеру немца Лейбля, вздумал бы учиться у Курбе? Даже Врубель пленился в юности испано-парижскою пустышкой, знаменитым и забытым Фортуни; ничего у французов не взял, потому что лучших французов не знал. Как не знал их и Суриков, не знал, до последних лет своих, Серов. Вот почему наше <u>прежнее</u> искусство (прежним

оно было в моих глазах, когда я подрос, но прежним оно стало, уже лет за пятнадцать до того для Бенуа, Дягилева, Сомова) именно и заслуживало стать "прежним", отжившим, а наше новое должно, обязано было стать и уже становилось совсем другим. Пусть Врубель, Серов, отчасти и Суриков, "нашими" были скорей, чем прежними; зато других и знать я не хочу.

Так думал заносчивый юнец в начале десятых годов нашего века. И не был он неправ. В этом я и нынче с ним согласен.

Петербург и Москва

То культурное обновление России, которого стал я свидетелем, было обновлением не настоящего только, но и прошлого, то есть представления о прошлом. Считаю это очень важной его чертой, присущей не одному ему (если его сравнивать со всеми прочими обновлениями, на Западе и у нас), но для него особенно характерной. Другая, столь же важная его черта, это что к Западу оно Россию обратило в гораздо большей мере, чем, во второй половине прошлого века, была Россия к Западу обращена. Эту новую "западность", новую ощутимость ("актуальность") прошлого, не всего (так не бывает), но известной (и как раз новой) выборки из него тотчас я почувствовал, когда пропуска в мир искусства стал добиваться, в толпу затесываться тех, кто в этом мире обитал. Положим, не так уж необозрима была эта толпа, но куда более компактна, чем еще недавно. Не знаю, сколько подписчиков было у журнала "Аполлон", которого я стал подписчиком с 1911-го года; или до него у московского "Золотого руна", или у все того же, не раз помянутого мной журнала "Мир Искусства", который обновлению дал новый темп и соответственный темпу размер. Но ведь не одни подписчики читали эти журналы или хоть порой заглядывали в них; а на выставках Мира Искусства, посещавшихся мною, я каждый год видел все больше народу, и состоял этот "народ" из людей, которые, в большинстве своем, едва ли с тем же усердием посещали выставки "Союза Русских Художников", а на продолжавшие устраиваться выставки передвижников, как я, и вовсе не ходили. Зато "Бубновый валет" (мне скажут) уже начал их в то время привлекать. Да, но ведь речь идет пока что об основах обновления, а не о дальнейшем ходе вещей, предполагающем его.

Обновление это было, в принципе, явлением обще-русским, но по корням и главным очагам, разумеется, столичным, причем, однако, слово "столица", как и "очаг" требуют у нас множественного или верней двойственного числа. В области живописи, да и других искусств, вел обновление на первых порах Петербург; но Москва стала его скоро обгонять, минуя промежуточные этапы, устремляясь на всех парах к самому,

что ни на есть, "последнему слову", к наиновейшим парижским новшествам. Именно парижским, а не мюнхенским (или обще-немецким), не английским, не скандинавским, которым основатели "Мира Искусства" оказывали, по началу, немалое внимание. Югендштиль, "модерн стайль" не во Франции был выдуман, не в живописи возник, архитектуру и прикладные искусства сильнее, чем ее затронул, ее же скорей с декоративной, а также иллюстративной ее стороны.

Живописцы группы Бенуа и Сомова книжную графику, театральные декорации и костюмы сильнее обновили и прочней обогатили, чем станковую картину, да и живопись вообще (красочность, живописность ее, характер ее изобразительности). Бенуа, в числе многих своих талантов, обладал и чисто живописным, но воспитывал его в себе слабей, чем другие дары. Сомов был рисовальщиком прежде всего, а в живописи - стилизатором (недаром он собрал такую изысканную коллекцию фарфоровых статуэток любимого своего века). Добужинский (слегка помоложе) - иллюстратором и декоратором. Зато москвичи, хоть и отправился в свое время Кандинский, и за ним Явленский именно из Москвы в Мюнхен, а не в Париж; уже с 1904-го или следующего года именно туда обратили взоры, а в Париже первенствовала живопись, и "стиль модерн", рядом с ней, большого значения не имел. Живопись эта москвичам и в Москве стала доступна, благодаря начавшим быстро разрастаться с этих именно лет собраниям Щукина и Морозова. Начиная с "Золотого руна" и первой выставки "Бубнового валета", ведущую роль в живописи стала играть Москва. Очень даже азартно принялась ее играть. Гналась. Догнать возмечтала и тотчас перегнать. Не думаю, чтобы такая гонка была благотворна для нашего искусства; и тогда этого не думал. Но я ведь был юнцом петербургским, из Петербурга на гонщиков глядел.

Продолжаю, однако, и теперь считать, что фундамент обновления, заложенный в Петербурге, был хорош и прочен; так что мог бы выдержать здание более долговечное (если забыть о предстоящих катастрофах) и лучше выверенное разумом и вкусом, чем то, что наскоро и диковатыми порой людьми было возведено в Москве. Щукиных и Морозовых у нас не было;

французскую новую и новейшую живопись увидели мы по-настоящему в Петербурге лишь на выставке 1912-го года; зато прошлое и западного и нашего западнического искусства (XVIII и начала XIX-го века) было у нас представлено куда лучше, чем в Москве. Представлено уже самим обликом города, но если о живописи говорить, представлено в его музеях.

Москвич, оторвавшись от Третьяковской галлереи, попадал напрямик в объятия Сезанна и Гогена, Матисса и Пикассо. В Петербурге же был Эрмитаж (с которым Румянцевский музей никак соперничать не мог), а в Русском музее хорошо были представлены портретисты осьмнадцатого века и художники начала прошлого столетия. Портретисты эти, от Рокотова до Боровиковского, были все, как и скульптор Шубин, учениками французов; но личного, а в чем-то уже и русского своеобразия отнюдь не лишены. Дягилев их прославил в 1904-ом году, выставкой в Таврическом дворце, и сам опубликовал, первую у нас, монографию о Левицком. А семь или восемь лет спустя, барон Врангель, член редакции "Старых годов" и самый деятельный из участников этого журнала, воскресил выставкой (в Русском музее) любопытнейшего из живописцев начала следующего века, Венецианова.

Портретную я не видел (мне было девять лет), но выставку Венецианова помню хорошо. Восхитила она меня. У художника, немного неловкого, как порою неловок бывал Луи Лунэн (он напоминает его кое-чем на расстоянии двух веков) радовала та наивная грация, которая при бо́льшей виртуозности не могла бы проявиться. Мы им любовались в Петербурге, как, по-другому, и Левицким. Живописцам "Бубнового валета" было не до них. Но Москву обижать, из Петербурга на нее глядя, я не собираюсь; да и никакой непроницаемой перегородки между двумя столицами не было. Вскоре нам довелось москвичей даже и перещеголять великолепной выставкой французской живописи от Давида до наших дней. А на следующий год (1913), москвичи нас удивили первой выставкой древне-русских икон, от копоти и переписи освобожденных, засиявших красками, поразившими самого Матисса, приехавшего по приглашению Морозова, украшать большими декоративными холстами его столовую.

Выставка эта подтвердила лишний раз, как и французская,

что обновление нашего искусства теснейшим образом было связано с обновленным восприятием и нашего и чужого прошлого.

Русский музей и Эрмитаж

В Петербурге было два главных и доступных всем собрания картин (а также и скульптур): Русский музей и картинная галерея Эрмитажа, - превосходное, одно из лучших в Европе, хранилище западной живописи, но доводившее историю ее лишь до конца XVIII -го века. Существовало, правда, подаренное Кушелевым-Безбородко Академии художеств собрание французских картин середины прошлого столетия, но посещалось оно мало, и на меня, в юности, большого впечатления не произвело; хотя, как я убедился позже, и были там, среди прочего, в общем недурного, два хороших маленьких Коро и два хороших небольших Делакруа. Теперь все эти картины, вместе со многими, происходящими из московских собраний и другими, подаренными или реквизированными, находятся в Эрмитаже, где, таким образом, соседят, как в некоторых американских музеях (например, в главном нью-йоркском) "настоящие" французские мастера недавнего прошлого с такими ненавистными им и ненавидевшими их живописцами, как Деларош, Бонна, Бугро, Мейсонье, Жан-Поль Лоранс.

Соседство это (наглядно ли оно осуществлено в залах нынешнего Эрмитажа, не знаю, сужу по каталогу) для историка поучительно, но в живописно-воспитательном отношении прискорбно. Коро, Делакруа, Курбе (одной лишь картиной, из того же собрания Кушелева, представленный нынче в Эрмитаже) Мане, Дега (которых в Эрмитаже нет), Ренуар, Моне, Сезанн и родственные им мастера воспитывают глаз, - каждый по-своему, но и все сообща та́к, что этот, воспитанный ими глаз не может их неприятелей, тут же висящих, не отвергнуть. Если же глаз мой доволен тем, что писал Лоранс или Бугро, то умно полюбить да уже и оценить Сезанна, или Мане, и что еще печальнее, Веласкеса или Хальса, я не в силах.

Такого положения вещей живопись до девятнадцатого века не создавала; но и в девятнадцатом веке оно создалось. Оттого признание сколько-нибудь широкими кругами его лучших мастеров и наткнулось на весьма замедлившее его препятствие. В годы моей юности, однако, французская, как и вообще ино-

странная живопись прошлого века, в петербургских музеях, как я уже сказал, представлена почти вовсе не была. Была представлена одна русская; ее только и оставалось сравнивать с западной живописью былых веков; тогда как в Москве подобного Эрмитажу музея не было, и художник, или, скажем, будущий историк искусства, вроде меня, в пятницу, посетив Третьяковскую галлерею, мог на следующий день отправиться в особняк Сергея Ивановича Щукина - открывавший двери публике именно по субботам - и, только что выкупав глаз в купели, уготовленной ему Репиным или Васнецовым, окунуть его в совсем другую влагу, Гогена созерцая или Сезанна, или, хотя бы, великолепно представленного у Щукина (как и у Морозова) Клода Моне.

Думаю, что это различие между тогдашней Москвой и тогдашним Петербургом отчасти объясняет и разницу в развитии нашей новой живописи там и тут: почти судорожную скорость ее перехода от Коровина к Малевичу, в Москве, и ее более осторожное с оглядкой на прошлое - не на близкое, а на более далекое прошлое - движение в Петербурге. Недаром ведь и на лугах поэзии тех лет в Москве возрос футуризм, а в Петербурге акмеизм.

Что касается меня, то был я петербуржцем, издавна ходил в Эрмитаж, как и в Русский музей, и начал к шестнадцати или семнадцати годам понимать то, что другие поняли и раньше, а именно, что воспитание глаза, даваемое Эрмитажем, с возрастающею силой запрещает мне восхищаться или даже "отдавать должное" Последнему дню Помпеи, Медному Змию (Бруни), Княжне Таракановой, мелодраматически погибающей в темнице, запорожцам, осклабясь пишущим ответ турецкому султану, Фрине, прельщающей оперных греков своей посахаренной наготой, глинистой кисти Перова, оловянным волнам Айвазовского, прокламациям Верещагина, чересчур сосновым соснам Шишкина...

Отчего это, думалось мне, на больших полотнах Рубенса, даже не собственноручно им законченных, ни одна голова так не выпирает из холста, не требует от меня, зрителя, чтобы я ее пощупал, что ли, как внушает мне это с таким надсадом лысый череп репинского казака? Отчего на пи-

рах Иорданса самые отъявленные весельчаки не гогочут так, как тут, и не щеголяют той превышающей всякую меру дифференциацией мимики, которой портят плохие иллюстраторы или режиссеры немой финал "Ревизора", хотя мы представляем его себе, читая Гоголя, без малейшего отвращенья и презабавно. Почему не мог Репин у тех же фламандцев поучиться красочному единству, из которого не выпадает ни один кричащий, осклабленный, как его запорожцы, тон? Или у Веласкеса - согласованию винно-красного пурпура с винно-розовым инкарнатом на портрете папы Иннокентия X-го, чудесный эскиз которого висел ведь тогда не в Вашингтоне, как теперь, а у него под носом в испанском зале Эрмитажа?

Ответа, конечно, на такие вопросы не было. Ясно было только, что и русская живопись со времени Брюллова, недурного портретиста, который в своей "Помпее" полнейшим эклектиком себя явил, поверхностной "живописностью" уснащая грубоватую и линейную в своей основе стереометрию, - по тому же пути пошла, в ту же распутицу забрела, где завязла и западная живопись. Французская, как и вся остальная, - с той, однако, разницей, что во Франции не один мастер, и не два, а целая вереница мастеров, сквозь целый век и дольше следовавших друг за другом, - хоть мастерами, долгое время, почти никто и не хотел их признавать, - в болоте не увязла. Продлила - и закончила - славную историю европейской живописи, начатую Джотто или, на севере, Ван Эйком.

У нас, начиная с Курбе, вовсе их и не знали, или суеверно их чурались. Да уже и раньше, пропасти не замечали, отделявшей Делароша от Делакруа; или Коро, даже от барбизонцев, не говоря уже о других пейзажистах его и следующего поколения. Или от его же ловких подражателей, вроде Труйбера (представленного нынче в Эрмитаже, где красуются, отражая прежнее положение вещей,целых шесть картин Делароша, которым противопоставить может наш музей только все тех же двух кушелевских Делакруа).

До таких противопоставлений я, конечно, не дошел своим умом. В начале десятых годов, им уже учили меня книги и журналы. В "Аполлоне" не воспроизводили ни Делароша, ни Бонна́, ни Мейссонье, - который ко времени своей кончины,

в 1891 году, был столь знаменит, что император Вильгельм счел нужным выразить по телеграфу свое соболезнование президенту Французской республики. Да и Верещагина с Айвазовским, да и Репина (который был им все же не чета) молчанием обходили в "Аполлоне". Но чувствовать, непосредственно глазом ощущать разницу между живописью, обладающей внутренним единством - красочным, прежде всего, но также композиционным - и живописью, лишенной их, научил меня все-таки Эрмитаж, где никакого прошлого века - ни хорошего, ни плохого - не было, но где было значительно больше совсем из ряда вон выходящих картин предыдущих веков, чем теперь.

Дело тут, однако, не в из ряда вон выходящих картинах, а в рядовых. Нет ни одного голландского мариниста XVII -го века, чьи марины были бы, иронически выражаясь, достойны кисти Айвазовского; как и нет ни одной исторической картины любой школы того же века, которая "достойна" была бы кисти Деларопа или Семирадского. Что-то было утрачено. Мои старшие современники и сверстники поняли это и, поколебавшись немного, пошли учиться к французам, дабы утраченное вернуть.

Очей очарованье

В Эрмитаж и в Русский музей хаживал я, как уже сказано, лет с тринадцати. Вскоре, не позже чем через два года, стал и на выставки ходить. На выставки "Мира Искусства", но и на другие; только передвижных не посещал; передвижники почитались в то время крайними реакционерами. Кем почитались? Теми, кому я верил, теми, кто воспитали мой вкус, теми, кто и в эрмитажных картинах разбирались и насчет современной заграничной - французской, прежде всего - живописи были осведомлены; чего о передвижниках и о почитателях их живописи сказать было нельзя. "Реакционер", "революционер", "прогрессист" - брр! Но совсем отказаться от словечек этого рода мудрено. А в данном случае и неложны они и забавны - тем, что политическому использованию, если и поддаются, то навыворот.

Реакционерами в искусстве оказались ведь поклонники революционных демократов, шестидесятников, и той живописи - или напоминаний о той живописи - которую те только и признавали сколько-нибудь достойной поощренья. О передвижниках я бы тут и не упомянул, если бы революционеры, став хозяевами страны, не вернулись к ним, вывернув своим подданным лицо назад. В те дооктябрьские, довоенные даже, годы, я вовсе о них и не помышлял. На выставках так приятно пахло свежей краской, - на всех, конечно, но там, у староверов, <u>другой</u> свежести не было. На выставках "Мира Искусства", юному мне, свежими и юными казались и сами картины, даже и те, перед которыми задерживался я ненадолго; хотя авторы всех этих картин ровесниками моими, конечно, не были.

На выставку только что созданного ходишь вообще с другим чувством, чем в музей. Может быть и возмутишься скорей чем-нибудь вполне тебе чуждым, раз не сковывает твоих чувств уважение к прошлому и признанному; но и склонен будешь найти живое в изготовленном живыми, да и молодыми, или не старыми еще, тут же, вокруг тебя. Мне, по крайней мере, на тогдашних выставках, не спорить, а радоваться хотелось, не изъянов искать, а в себе согласие находить с тем, как видит мир, и как его показывает мне художник, ищущий уже в показываньи этом, моей дружбы, моего участия.

Было бы даже и неучтиво наотрез отвернуться или вовсе

не уделить ему внимания. Старшие живописцы основной группы Мира Искусства радовали меня все; но по преимуществу Бенуа, живописец в большей мере, чем другие. Из младших, немедленно я полюбил, как только первые холсты его увидел, Сапунова. Но приятность умел находить и в белорозовых (довольно-таки по части подлинного красочного зрения) пейзажах Крымова, или немножко натянутых, Италией уязвленных, о Мантенье размечтавшихся, Богаевского, - и мало ли еще в чем? Почти во всем! Помню, что когда появились на выставке три приятеля по Академии, только что вылупившиеся ее птенцы, Яковлев, Шухаев и Григорьев ("ишь ведь, говорили, неужели порождает она еще что-нибудь живое?") они мне вовсе не понравились. В живописи всех трех было что-то молодцеватое, размашистое, готово-умелое слегка родственное тому, что претило мне позже у москвичей Кончаловского и Машкова. И все-таки, хоть и коробила меня отвага трех мнимых богатырей, я и ей ответ находил в себе: веселила она меня; я и отвергал ее весело, а не хмуро. Так, при хорошем аппетите, не откажешься порой и от блюда, не слишком тобой любимого.

Аппетит, не только к живописи, но и ко всем с ней связанным - как и независимым от нее - художествам с каждым годом возрастал во мне и вокруг меня. Чистая живопись станковая, рамой от всего в мире огражденная, и в себе содержащая свой мир, вовсе в Петербурге, в отличие от ужаленной Парижем Москвы, над всем прочим не первенствовала; даже и не стремилась первенствовать. Но ведь очарование не одна "чистая" (едва ли даже и ясно, что́ это такое) и не одна станковая очам дарует, а и всякая другая, кроме совсем плохой. Наилучшие "наши" живописцы были также иллюстраторами и декораторами. Кто же, подумав о Бенуа, не вспомнит его иллюстраций "Медного Всадника" и "Пиковой Дамы", его декораций и костюмов для "Мнимого больного" и "Хозяйки гостиницы" в Художественном театре, для "Павильона Армиды" в Мариинском, для "Петрушки" у Дягилева (немного позже). Облик издаваемых в России книг за какие-нибудь десять лет до неузнаваемости изменился, и не только в отношении иллюстраций, но и обложек, переплетов, подбора шрифтов, типографского дела вообще.

И с такой же быстротой изменялся облик театральных представлений, драматических, оперных, балетных. Тут мы даже во

многом Запад опередили, многому его научили, - через дягилевские парижские постановки главным образом. Если позже крупнейшие французские живописцы и на этом поприще наших затмили - - того же Дягилева, кстати сказать, - то ведь само это поприще не ими и не их театральными деятелями было для них открыто и им предоставлено. Они следовали примеру тех, кому предстояло, в отечестве нашем, остаться не у дел или оттуда бежать; если не примеру уже оттуда убежавших.

Книжная графика - и типографское художество вообще - очень, как раз в те годы, расцвели, что́ засвидетельствовано было в год войны редкостным успехом русского отдела на Международной выставке книжного искусства в Лейпциге. Но еще больше радости давала современникам и сверстникам моим, более бурные взрывы восторга у них вызывала театральная живопись. Помню, как зааплодировал весь зал в петербургском театре Незлобина на первом представлении "Мещанина в дворянстве" Мольера, когда поднят был постоянный занавес и показан для этой пьесы написанный Сапуновым, а затем как мы рукоплескали - добрых пять минут - первой декорации его же, когда никого еще на сцене не было. Помню, как поразила меня роскошь - отнюдь не грубая, очень утонченная роскошь - декораций Головина для постановки "Орфея" Глюка в Мариинском театре, где внутренний занавес, опускавшийся при переходах от одной сцены к другой, весь был сделан из широкоузорного нежно-кремового кружева. Бывали случаи, когда интерес зрителей к декорациям и костюмам даже вредил их интересу к пению, танцу или актерской игре; спектакль иногда способен был зачеркнуть драму. По этому опасному пути многие вскоре после того пошли и продолжают идти, на Западе. Но живопись, пусть и театральная, сама по себе, тут не при чем.

Наши, к тому же, славные театральные живописцы отлично понимали театр. Бенуа в Художественном театре, сотрудничал с режиссером; Головин, в Александринском, успеху Мейерхольда, при постановке Мольеровского "Дон Жуана", очень заметно посодействовал. Лучшими постановками были - и к лучшим моим театральным воспоминаниям причисляю я - те, где полностью осуществлялся союз между драматической стороной спектакля и живописной. О трех из них теперь и поведу я речь.

"Дон Жуан" Мейерхольда

Не собираюсь театральные воспоминания мои излагать хронологически; хронологию эту и плохо помню. Не помню даже, порой, что́ я видел в последние школьные мои годы, а что́ в ранние студенческие. Да и не все ли равно? Помогать моей памяти справками, почерпнутыми в книгах,я себе заранее воспретил. Память капризна, но я решил подчиниться ее капризам, писать лишь о том, что помню и что, несмотря на все капризы - недаром, нужно думать - мне запомнилось. Обо всем, чего я в дальнейшем коснусь, существует документация весьма обильная. Прибавить к ней я ничего не могу. Но сохранившиеся впечатления мои, и самый тот факт, что они сохранились, быть может кое-что прибавят к нынешней оценке тех лет, или что-нибудь поправят в ней.

Начну с Александринского театра (нынешнего имени Пушкина), который в те времена звали "Александринкой" - увы, и сам я звал, хоть и глупа эта разгильдяйская кличка. (Вот только, слава Богу, о спектаклях Художественного Театра, гастролировавшего каждую весну в Петербурге, никогда, подражая многим друзьям моим, не говорил, что видел такую-то пьесу "у художников": чувствовал пошловатость этой скороговорки). Насчет Александринского театра ухмыляться, пусть и ласково, уже потому неуместно, что само это театральное здание - творение Росси - одно из лучших и величественнейших, какие есть на свете; причем величественно оно не размером, а чистотой и четкостью, никогда не переходящей в сухость, строительных форм. Театр Сан-Карло в Неаполе, того же стиля, значительно больше и вовсе не дурен, но уступает ему все-таки во многом. Да и вообще театр - место празднеств; торжественность ему к лицу; незачем фамильярничать даже с его именем. Так начинал я чувствовать уже тогда. И чувство это вполне было оправдано, утверждено лучшим спектаклем, какой довелось мне в этой "Александринке" видеть. Мольеровского "Дон Жуана" я там видел - и не раз, а три раза - в постановке Мейерхольда.

Видел я там и многое другое: ведь это и был главный в Петербурге драматический театр. Видел Савину в "Грозе" Островского, - совсем старую Савину, слишком старую для

роли Катерины, но являвшую на трагических вершинах этой роли достоинство и силу, которых не достигла бы ни одна из тогдашних петербургских актрис. Видел двух наиболее прославленных и маститых лицедеев того же театра, Давыдова и Варламова, из коих первого всего лучше помню Расплюевым в "Свадьбе Кречинского". Играл он с виртуозностью немного показной, хоть и далеко не всякому доступной. Сам же первый ею любовался, чем, однако, заражал и нас. Тогда как Варламов, не только собой любовался, но и в любой роли самого себя играл, - зная заранее, что зрителя покорит одним уже врожденным ему даром смешить, одной уже своей сугубо-фальстафовской внешностью; а потому и не стесняясь, ролей не учил, полагался на суфлера, да не очень усердно слушал и его; нес отсебятину, чувствуя, что успеху своему этим даже и содействует, повредить, во всяком случае, не может.

Видел на той же сцене и самого Мейерхольда, чем я, вероятно, кой-кого из тех, кто помоложе, и удивлю, потому что не о его постановке говорю, а об актерской его игре. "У врат царства" он не только поставил, но играл в этой пьесе Гамсуна, главную роль; запомнился мне, однако, не в ней, а в роли второго претендента на руку Порции в "Венецианском купце". Ее - всю коротенькую эту сцену - сыграл он изумительно. То есть, верней, осуществил в совершенстве свой изумительный режиссерский замысел. Рыцарь был весь в латах, весь как будто из лат, шлема, жестяных ботфортов и состоял; металлически двигался, металлически звучал его голос. Позже, много позже, когда в "Лесе" Островского Несчастливцев со Счастливцевым перебрасывались репликами с каких-то никому не нужных лестниц и помостов, я думал с грустью, что от великого до смешного - один шаг. Тот же самый, к гениальности близкий дар может породить и незабываемое, и - если поддастся произволу, потеряет чувство меры - самое нелепое. Но вернусь к довоенным далеким годам, к "Дон Жуану" - к восторгу полному, радости безоблачной. Молод я был, что и говорить. Ох, как зелен, до чего юн! Но лучшего спектакля никогда, за всю жизнь, я не видел.

Слово "спектакль" нужно тут дважды подчеркнуть. Мейерхольд комедию Мольера, не исказив ее нисколько, превратил

во что-то сильно похожее на балет. Известно было, что он Юрьева так именно главную роль играть и научил, или, верней, уговорил. Юрьев был опытный и немолодой уже актер, но замысел Мейерхольда он понял, принял; и выполнил блестяще. Варламова и учить не пришлось; он был и без того склонен к преувеличению, карикатуре, гротеску, к тому, чтобы почти по-клоунски смешить публику, и, несмотря на необъятную свою толщину, был не мешковат, а ловок и подвижен. Все это, и даже то, что Сганарель оставался Варламовым, вполне устраивало (как говорится) режиссера. Другим актерам и актрисам дал он точные указания, и никаких особенных усилий не потребовал от них. Декоратор - Головин - превзошел все, что для театра писал до тех пор. Пьеса была поставлена, как тогда выражались, стилизованно и "условно", то есть без малейшего намерения дать "иллюзию жизни", (что для <u>этой</u> пьесы было бы, во всяком случае, бессмысленно). Дирекцию задобрил Мейерхольд, да и критику обезоружил тем, что будто бы стремился воспроизвести приемы постановки и актерской игры времен Мольера; но ни о какой педантической реконструкции он и не помышлял, воспользовался лишь теми чертами тогдашнего театра, которые вполне отвечали его замыслу. Кое-какие длинноты были убраны. Действие должно было, от поднятия занавеса до трагического - нет, трагикомического - конца идти легко, ритмично, весело, в строго выдержанном темпе, радовать прежде всего самой театральностью своей. Так оно и шло. Занавеса, впрочем, вовсе и не было.

Каково было удивление мое, когда, направляясь из бокового входа в партер к моему месту (это было одно из так называемых "мест за креслами") я увидел, что занавеса нет, что сцена полукругом выдвинута вперед, в зал, что декорация тут как тут (меняясь, по ходу действия, лишь ее наиболее отдаленная от зрителя часть), но что сцена пуста: никакой мебели, никакого реквизита. Затем вышли справа и слева два суфлера в кафтанах и париках и расположились за изящными небольшими ширмами. Затем выбежали арапчата, расставили кресла, табуреты; и после трех регламентарных глухих ударов началось представление: появился на сцене с табакеркой в руках огромный, зычноголосый Сганарель. И потом, ах, как

все было хорошо, и в первый, и во второй, и в третий раз, как увлекательно, как ненадоедливо-забавно! С каким наглым изяществом входил, ногу на ногу клал, садясь, вставал, порхал по сцене Дон Жуан! Как весело объяснялся в любви, с какой легкостью одурачивал одновременно и Шарлотту, и Матюрину! Какие звонкие пощечины получал от него Пьеро! Как бесстрашно приглашал статую командора на ужин! Как огненно проваливался в тартарары! Как рычал и рыдал Сганарель, сокрушаясь о пропавшем жалованьи!

Считать не хочу, сколько лет с тех пор прошло. Рукоплещу. Бегу по среднему проходу к сцене...

"Мнимый больной" и "Хозяйка гостиницы"

От живописи перешел я почти незаметно к театру. Для перехода выбрал "Дон Жуана", потому что живопись играла в этом спектакле большую роль; да ведь и сам спектакль был, прежде всего, радостью для глаза. Он, конечно, и значительной частью своего успеха был обязан этой своей "зрелищной" стороне. Из Александринского театра перекочевываю теперь в Московский Художественный, чьи петербургские гастроли я каждый год усердно посещал, и поговорю о двух пьесах, прелести и успеху которых живопись тоже содействовала немало. Декорации и костюмы были тут даже и выше по качеству, но драматическая сторона спектакля все-таки первенствовала и в балет не была превращена. Зато живописец этих постановок, Бенуа, был и сам театралом и знатоком театра; с ним и режиссеры считались, он и нарочитую "театральность" этих постановок во многом, несомненно, вдохновил. Чудесные декорации и костюмы для них придумал. Но все-таки главным в этих спектаклях, имевших, в Москве и в Петербурге, очень большой успех, было то основное, наряду с драматургией, в театре, без чего и нет его вовсе: актерская игра.

И в "Мнимом больном" Мольера, и в "Хозяйке гостиницы" Гольдони, главную роль играл Станиславский. Безо всякого колебания скажу, что лучшего актера в тогдашней России не было, хотя превосходных, первоклассных актеров было много, - больше всего в том же Художественном театре. С тем меньшим колебанием я это говорю, что и в юности не принадлежал к фанатическим поклонникам (каких было много среди сверстников моих), этого театра, отнюдь не был сторонником театральных воззрений Станиславского, еще того менее литературных вкусов Немировича-Данченко, да и весь "стиль" этого театра в целом (потому что был у него свой собственный пошиб или "стиль") вызывал у меня сомнения. Однако, стольких превосходных и превосходнейших актеров ни в каком другом театре не было, а Станиславский был лучшим и среди них, как среди всех других. С этим-то, вероятно, многие и согласятся, скажут мне "чего это вы, бывший молокосос, ломитесь на старости

лет в открытую дверь?" Но тут я "многих" этих парадоксом поражу, рявкну: "А лучшей русской актрисой тех лет была жена Станиславского, Лилина".

В "Мнимом больном", Аргана играл Станиславский, а служанку Аргана, Туанет, главную женскую роль в этой пьесе, Лилина. Они играли одинаково хорошо, реплики друг другу подавали даже не концертно, а дуэтно (все самые живые и самые смешные диалоги мольеровской пьесы, их как раз диалоги и есть). Так играли, как играли бы в четыре руки - чего не бывает никогда - два лучших пианиста Европы. Превосходно было и все прочее: теплые тона (с преобладанием коричневых, темнозеленых и красных) декораций - голландско-французских (что́ очень подходило к архи-буржуазному тону пьесы); великолепно поставленная гротескная церемония в конце, актеры (не помню кто), игравшие аптекаря, врача и незадачливого будущего медика, жениха дочери Аргана, который начинает ей комплимент: "Подобно статуе Мемнона, издававшей мелодические звуки под лучами восходящего солнца...". Но Арган и Туанета солистами были (что́ как раз противоречило принципам Станиславского, который признавал лишь ансамбль, а солистов не признавал); все остальные только подпевали их дуэту. Два раза я все это видел. Был в юности так смешлив, хохотал в первый раз настолько "до упаду", что и в самом деле чуть не выпал из своего кресла рядом с боковым проходом и, заметив неодобрение соседей, выскочил на минуту из зала, чтобы успокоиться. Не помню, в какой момент. Если слушая Станиславского и Лилину, - браню себя. Тут любого хохотуна обуздать должно было бы восхищенье.

Так же восхитительно играл Станиславский кавалера де Рипафратта в комедии Гольдони, роль несравненно более сложную, чем роль Аргана в "Мнимом больном". Я тогда же слышал рассказ о том, как он к этой роли готовился, - вполне достоверный рассказ; не от А.Н.Бенуа я его слышал, с которым тогда знаком еще не был, но передан он мне был именно с его слов. Работали над пьесой исключительно долго. Это было в традициях Художественного театра. Но тут дошло чуть ли не до сотой репетиции, когда Станиславский, посреди действия - репетировали уже давно в декорациях и костюмах - сел на

какой-то табурет или на ступеньку гостиничной лестницы, закрыл лицо руками, помолчал несколько минут, а затем объявил, что роль ему не удается, что, вероятно, он передаст ее другому актеру, что все придется начать сначала. Прекратил репетицию и отправился домой. Провел бессонную ночь, но следующим утром назначил новую репетицию, и дело быстро пошло на лад. Он нашел, какой тон ему взять, как войти в роль, как ему перевоплотиться, или - менее изящно выражаясь - как ему в шкуру влезть застарелого женоненавистника, - хотя, в сущности, по замыслу Гольдони, немножко менее старого, чем сам Станиславский был в то время.

Партнершей его была Гзовская, актриса совсем молодая, талантливая, очень красивая, - не его жена, не Лилина, которая не участвовала в этой пьесе, а, как всем было известно, тогдашняя возлюбленная его. Роль очень для нее подходила. Не была она актрисой равной Лилиной (об этом скажу еще два слова), но играла прекрасно, ничего лучшего пожелать было нельзя. И опять, вопреки декретам Станиславского, вопреки тому, что в его театре лучшие актеры исполняли нередко крошечные роли, получился дуэт, - его дуэт с Гзовской; и я распределения других ролей давно уже не помню, даже и моментов игры других действующих лиц почти не помню, а его и Гзовскую не могу забыть. "К черту женщин, никаких женщин!" слышу я сиплый голос Рипафратты (кажется с балкончика он это говорит, или спускаясь по лестнице на дворик локанды), и скоро появится очаровательная локандьера, на которую, поначалу, суровый холостяк в расшитом кафтане и седоватом парике даже и взглянуть не хочет, буркает в ответ на ее любезности что-то невнятное, и уж во всяком случае не галантное, - а потом начинает, но только чуть-чуть, постепенно, невероятно медленно, таять - пять действий для этого нужны - и столь же медленно преображается, молодеет, хорошеет, даже голос его становится другим, улыбка на его лице возникает, та самая, ни у кого, кроме как у Станиславского мной не виданная, та самая, думается мне, улыбка, которой он Гзовскую - не на сцене, а в жизни - покорил, и которая означала тут, что женоненавистника покорила красотка-локандьера. Решающая сцена таянья и покоренья происходит за столом. Угощают ка-

валера. С каждым блюдом он становится покорней, благодушней, улыбчивей, счастливей. И зритель - вслед за ним. И зритель - вместе с ним. Не о себе, молокососе, говорю. Я-то уж конечно! Нет, *все* зрители. Весь зал. Италией любуются (Бенуа будут вызывать), Гзовской любуются, бесподобной игрой кавалера... Смеются, радуются, зарукоплескали бы посреди действия, если бы посмели. Солнце на сцене. Электричества как не бывало! Какой счастливый день... И как давно. Боже, как давно...

"Братья Карамазовы"

Когда я вспоминаю о Московском Художественном театре моей юности, то с одного края глядят на меня Гольдони и Мольер, а с другого, совсем противоположного, Достоевский. Особенно это верно об инсценировке "Братьев Карамазовых". "Бесы" или вернее продольная вырезка из них под заглавием "Николай Ставрогин" была поставлена позже. Тут были декорации и костюмы Добужинского. Это было больше похоже на пьесу, на другие пьесы; да и не в такой мере это было замечательно. "Братья Карамазовы", поперечно разделенные на два спектакля, шли в сукнах и в костюмах портняжных, не так уж и отличавшихся (разве что обилием черных сюртуков) от тогдашних наших собственных. Ни одного слова к тексту прибавлено не было. Слева на авансцене сукном было выделено узкое место для чтеца, который - просто и бесстрастно - прочитывал время от времени несколько повествовательных фраз, пояснявших связь между предыдущей и следующей сценой. Воочию, таким образом, оказалась продемонстрированной драматургия самого автора "Карамазовых". Недаром, незадолго до того, Вячеслав Иванов роман Достоевского (не один этот, но тип романа для него характерный) назвал "роман-трагедия".

Я и тогда к инсценировке романов, даже и поддающихся ей сравнительно легко, относился без восторга, скорей даже и заранее отрицательно, хотя по-настоящему варварские переделки лучших произведений мировой литературы (романов, как и драм) были еще впереди: для этого использован был кинематограф. Все, что при чтении воплощалось в неосязаемую, воображением сотканную плоть, - видеть это на сцене, для которой, как-никак, предназначено это не было, иметь возможность, лишь фактически неосуществимую, пожать руку Ивану Карамазову или похлопать Алешу по плечу, еще в их Алешином и Ивановом бытии, до того, как они вновь обернутся Го́товцевым и Качаловым, - разве нет в этом чего-то непозволенного, разве нет насилия и над авторским замыслом и над моей - читателя - интерпретацией его, над той, совсем особенной связью, какая образовалась между его образами и

теми, что возникали во мне, когда я был наедине с ним, держа книгу его в руках, и которые с тех пор продолжали жить в моем воображении? Вообще говоря, это так. Но всяческие "вообще" подвержены бывают исключениям, и "Братья Карамазовы" в Художественном театре именно и были таким, единственным в моем опыте, ни с чем не сравнимым исключением.

Проще всего так это выразить: все действующие лица романа, или почти все, оказались именно такими, какими я их воображал. В этом, конечно, была немалая доза иллюзии. То же самое ведь казалось и большинству, огромному большинству других зрителей - успех постановки был велик и прочен - а ведь каждый воображал несуществующих этих людей немножко все-таки по-своему. Разница стерлась. Сценическое воплощение, не противореча тому неполному, призрачному, что обозначалось в каждом из нас, довершило его, довоплотило, к полному нашему удовлетворению, - и я, теперь, через шестьдесят лет, перечитывая в двадцатый раз роман, вижу Смердякова таким, каким его играл - изумительно играл - актер, фамилия которого кажется (наверно не помню) была Воронов, вижу Митю-Леонидова, вижу Германову-Грушеньку, вижу Федора Павловича-Лужского и вижу, что все они и все прочие, мои собственные и есть, оставаясь подлинными созданиями автора; но, подумав, не могу все-таки не подозревать, что не так-то уж ярко воображал я их до того, как увидел их на сцене, а насчет Смердякова даже и смутно вспоминаю, что не умел я его зрительно с достаточной ясностью вообразить. Давно нет актера этого на свете, нет Германовой, которую я впоследствии знал лично, никого нет больше в живых из тех, кто тогда для меня - и для стольких других - стал и остался лицом, Достоевскому обязанным жизнью; но я убежден, что покуда последний из нас еще на земле, а не под землей, все так же будет он видеть Леонидовым Митю, все так же Ивана и его черта сквозь Качалова будет воображать.

Потому что черта не было там, в полутьме, когда к концу походил второй спектакль. Качалов говорил за себя и за него, и та́к, говоря за него, становился другим, что этого

другого мы почти что видели, мерещился он нам, покуда не раздавался со двора, в раму окна "твердый и настойчивый стук" Алеши. Это, и последний разговор Ивана со Смердяковым было может быть самое необычайное, высшее в этом втором, да и в обоих вечерах; но было и очень много незабываемого другого. Вся длинная сцена в Мокром; ни в какой другой роли (из виденных мною) Леонидов так, как в этой, не играл. Его порывистость, его буйная громоздкость, нежность под грубою корой, "дитё", смущение насчет несвежего белья... И, гораздо ближе к началу, "надрыв", "надрыв в избе" и "на чистом воздухе". Тут играл капитана-мочалку, штабс-капитана Снегирева актер бо́льшего разнообразия и бо́льшего калибра, чем Леонидов: Москвин. Та́к играл - "Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с!" - как, собственно, нельзя играть. В зрительном зале рыдали, падали в обморок; выносить пришлось сидевшую позади меня пожилую даму. Я, конечно, и сам плакал навзрыд. Когда на следующий год снова привезли "Карамазовых" в Петербург, плакать мне не пришлось: выключили эти две сцены. У Москвина не совсем здоровое было сердце; врачи запретили ему эту роль. А никто другой та́к бы ее не сыграл.

Знаю, что такая игра (как и сам этот "надрыв") - на границе возможного в искусстве, нужного искусству. Помню, что в древних Афинах изъяли из дионисийских празднеств трагедию, во время исполнения которой беременная зрительница выкинула недоноска. Но пожалеть о том, что видел Москвина в этой роли не могу. Посчастливилось мне, что я его видел.

Инсценировка "Бесов", против которой так неумно протестовал Горький, предвещая будущие запреты, ничего столь необыкновенного не дала. Стахович был очень хорош в роли Степана Трофимовича, Лилина в роли "хромоножки", Коренева (если не ошибаюсь) в роли Лизы. Но другие из лучших актеров театра показались мне в этих своих ролях бледнее, чем в карамазовских. Вышла одна сцена и - непроизвольно - смешной. Когда Маврикий Николаевич, из уст Ставрогина услыхав, что тот женат, пытается угрозой уберечь от него Лизу, молодой актер, игравший эту роль и плохо в нее входивший, решил, видимо, заставить себя "переживать", как

того требовал Станиславский, им же рекомендованным способом, выведенным из психо-физиологической теории (в этой своей части вполне оправданной) Ланге-Джемса. Стиснув зубы и сжав кулаки, испытываешь гнев; пригорюнившись - уныние. Вот и стал актер (не помню его имени) все сильнее, с каждым словом, стучать кулаком по столу. "Если вы" - удар - "не оставите" - второй - "после такого признания" - удар сильней - "Лизавету Николаевну" - еще сильней - "я вас убью палкой" - адски сильный удар - "как собаку под забором" - трах! Чуть стол не проломил.

Что и говорить, не все было достойно восхищения и подражания в Художественном театре, не все было образцово. Но благодарность ему полудетская моя перерастала, а теперь и во сто раз превышает любой укор.

"Три сестры" и "Вишневый сад"

Бунин очень высоко ставил Чехова, нежно любил его, чтил его память, немножко даже "обожал" его; но пьес его терпеть не мог, бранил их нещадно. На Западе, вот уже полвека, ставят их повсюду, и повсюду имеют они успех. Оказали, тут, и на драматургию влияние весьма значительное. О себе скажу, что их (в отличие от иных рассказов, большей частью поздних) не перечитываю никогда. В театр, за пятьдесят лет, ни разу не пошел, чтоб увидеть их вновь, в иностранном их облике или русском. Но память о том, как их играли в Художественном театре, храню, и принадлежит она к лучшим моим - человека давно переставшего быть театралом - театральным воспоминаниям.

Можно и вообще сказать, что чеховские пьесы, сами по себе, и в истолковании Художественного театра - две вещи разные. Чехов истолкованием этим ведь и сам был удивлен; привыкал к нему медленно; кажется, и до конца своих дней полностью с ним не свыкся. Он такого "настроения" (как тогда выражались) вовсе в них не вкладывал, или не знал, что вкладывает. Можно играть их суше и быстрей. Можно слегка и на смех поднять их главных действующих лиц, даже сочувствуя им, или их жалея. Можно и философию из них извлечь совсем другую, чем та, что́ теми же москвичами из них была извлечена. Когда, сорок с лишним лет назад, "Вишневый сад" впервые был сыгран по-английски, в Лондоне, рецензент одного из лучших тамошних еженедельников нашел бездну глубокомыслия и особый русский гамлетизм в репликах конторщика Епиходова, того самого, кто в первой же сцене говорит (именно с этим ударением) "наш клима́т не может способствовать в самый раз". Мы, разумеется, этого рода глубин в чеховских пьесах не искали; нс подсмеивались - и то не зло - только над персонажами его, вроде этого; и осуждать готовы были лишь тех, кого он сам (за бессердечие, большей частью) с полной ясностью осуждал. Знали мы, кроме того, что "Вишневый сад", в Александринском театре, провалился именно по той причине, что играли его там насмешливо, прохладно и прозрачно. Настроили чеховские клавикорды меланхолически, лири-

чески, даже и немножко истерически, именно там, в том знаменитом московском переулке, где на занавесе чайка была выткана, где актеры на вызов не выходили, где царило совсем особое - в куцом пиджачке, с пенсне на шнурочке - интеллигентское благочестие и благоговение.

"Чайку"-то я, впрочем, как раз и не видел никогда (да и вытканную только раз). Полагаю, что и не пленила бы меня, довольно бодрого юнца, эта слишком уж муслиновая (думаю о дамских рукавах раструбом вверх), иронически-поэтическая, а все-таки и всерьез рыдательная пьеса, чью поэзию словно вдвоем породили чахоткой скошенный Надсон и, будетлянин, сравнительно с ним, но уже успевший выброситься из окна, Бальмонт. Зато "Дядю Ваню" видел я, единственный, правда, раз, и доктор Астров покорил меня, как ему покорять и полагалось. И совсем уж навзрыд был я покорен "Тремя сестрами", виденными мной три раза; как и три раза (через большие промежутки времени) плохо я засыпал воображая, как опадает розовый цвет с проданных на сруб деревьев "Вишневого сада". Отчего это, еще и теперь спрашиваю я себя, читаешь "в Москву, в Москву...", или "мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах", и разве что криво усмехнешься, волнения не испытав ровно никакого, а когда на той сцене или "Три сестры" или "Дядя Ваня", было совсем не так. В чтении, и барона Тузенбаха не очень тебе становится жалко: рассуждения-то ведь его с самого начала были жалкие. Даже подполковник Вершинин и Маша, - как же им было не расстаться: ведь знали, ничего неожиданного (кроме дня и часа) в этом не было. А когда ты все это видел своими глазами, голоса всех этих людей слышал, все было по-другому: всему-то ты верил, отдавался весь всему. И ведь это совсем не общее правило. Великий драматург тебя и в чтении захватит, не меньше, а порой и больше, чем на сцене. Чехову же понадобилось дополнение, не любой, а именно этой сцены, понадобился театр, чьи руководители - но и не одни они, а вся труппа - единодушно поняла, именно так, как она поняла, чеховских людей, их чувства, их действия, их бездействие. И этим найденным в них, или в них вложенным чувствам, в себе обрела со-чувствие.

Сыгранность, которую этот театр всегда искал и всегда

находил лучше всех других, достигла здесь, поэтому, предельного совершенства. Пусть лучшие оставались лучшими, но все другие не тянули их вниз и не приподымали их еще выше, по контрасту с собой, а силою "ансамбля" возвышались все вместе и становились им равны. Москвин играл ничтожную роль ничтожного офицерика в "Трех сестрах", а я тупенькое лицо офицерика этого помню до сих пор. Лилина, умилительно милой умевшая быть, играла, в той же пьесе - несравненно хорошо играла - пренесносную жену брата трех сестер. И детская коляска, Андреем возимая, не зря скрипела, и чебутыкинская "та-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я" пронзала наши сердца. Ни одна режиссерская выдумка не казалась трюком; все отсебятины постановки откровениями были для нас, изъявлениями чеховских глубин. В авторской ремарке, там где Вершинин прощается с Машей, сказано, что обнимает он ее и "быстро уходит". На сцене, Станиславский, не дойдя до двери, оборачивался к Маше, глядел на нее, и Книппер отвечала его взгляду... Минута... Казалось, что ей нет конца. В зале - платки у глаз, едва сдерживаемые рыданья. Могу и сейчас перенестись в этот миг, увидеть их обоих, могу заплакать. Скажут: экие сентименты. Отвечу словами иронически острого Фридриха Шлегеля: "Скучновато совершенство и мастерство, когда чувства в них нет".

Как "Три сестры", так, еще разительней, "Вишневый сад". Студентик-то ведь - дурачок (быть может потому я и забыл, или хочу забыть, кто его играл; чуть ли не Качалов). И к чему Епиходов, Шарлотта Ивановна, Яша? Зачем Раневская с самого начала нажимает на педаль; правда, на левую педаль. Оскомину разве не набивают биллиардные реплики Гаева, - вариант тарарабумбии, точно так же подчеркивающий безнадежность финала. Но когда все двери усадебного дома заперты снаружи, и одинокий топор стучит вдалеке, и медленно входит Фирс (все это <u>здесь</u> предусмотрено Чеховым - научился! - включая возраст Фирса: 87 лет) и бормочет "забыли про меня", и ложится на диван, и лежит неподвижно... Ах ты, Господи, вот я все это пишу, и недоволен чем-то, усмехнуться готов; а когда входил Артём (старый школьный учитель, которого некогда подыскали для этой роли) не смеялся никто; бормотанье

его слушали, и тот символический звук с такою грустью, что с ней и на улицу выходили, и домой ехали, и на полночи ее хватало.

"Символический"! Это при чтении так думаешь. А ведь как обманчиво это слово! Если символ жив, или способен ожить, нет больше символа. "Все преходящее есть только притча", или, как обычно переводят, "есть только символ." Но если мы в преходящем живем, если оно - наша жизнь, а жизнь это символ и есть, тогда надо вычеркнуть "только", а потом, до предела мысли подумав, и "символ". В те два-три часа, покуда Раневскою была Книппер, Гаевым Станиславский, Епиходовым Москвин, Лилина - Шарлоттой Ивановной, когда все было согласовано, пригнано одно к другому до последних мелочей, - не было больше актеров, сцены, театра...

Или, кто знает? Может быть это настоящий театр и есть?

"Где тонко, там и рвется"

"Мможешь ли ты угадать ммою ммысль?", рычал, или вернее мычал Леонидов, прежде, чем размозжить голову бронзовым пресс-папье мужу своей любовницы. Уже по этому финалу можно судить о качестве "мысли", как и о качестве пьесы. Сургучевская ("Осенние скрипки" - бедный, бедный Верлен!) была не лучше этой, леонидандреевской. Нет, нет, не все было хорошо - и даже выносимо - в Художественном театре. Есть произведения, которых не спасает никакое исполнение. Леонидов был на редкость хороший актер; Книппер прекрасно играла начинающую стареть героиню "Осенних скрипок", но скрипки-то все-таки фальшивили, но "Мысль" и "ммысль" все-таки обличали мыслительную неспособность автора. Однако, Тургенева, например, хоть и далеко не столь созвучного им, как Чехов, актеры этого театра не только играли превосходно, а еще и так, что никакого конфуза не получалось, - как получается он в тех случаях, когда умницы хвалят дурака или изображают дураков.

Оттого и сердишься, бывало, на них, что приучили они тебя к уровню совершенства, с которыми сравниться не мог никакой другой театр. Слава его была им полностью заслужена, но не тем, а наперекор тому, чем он ее стремился заслужить. Незачем было, например, перед постановкой "Юлия Цезаря", всем его участникам ездить в Рим, осматривать Форум, Капитолий, Палатин, которых Шекспир в глаза не видел. Незачем было так упорно проявлять - в самом характере постановок - сожаление о том, что спиной к публике поворачиваться может актер лишь изредка, и что четвертой стены к "павильону" никак не приставишь. Незачем было - в "Студии" - даже и рампу уничтожать, сцену и жизнь сближать так прямолинейно, простодушно печалуясь о том, что их нельзя одну с другой перемешать. Мейерхольд это все куда лучше понимал, но актеры большого калибра, с тех пор, как он, сам превосходный актер, от Станиславского ушел, не часто попадали в его распоряжение. Тогда как в распоряжении его бывшего хозяина, гениального актера, их было сколько угодно, и находить он их умел, как никто другой. Правда, был у него и Немирович, никакой не актер, человек сомнительного вкуса и очень низкого литературного образования; но главное в театре (после драматурга) это ведь все-таки

актер. Немирович, а с ним и Станиславский, по-видимому, думали, что актер что-то копирует, "воспроизводит"; но ведь предмет его "копии" - Гамлет или Хлестаков - ему в опыте не дан, а изображать невидимое или неувиденное - дело не копировщика, дело художника. Несмотря на не совсем скромно, или не очень умно выбранное название их театра, актеры его оставались подлинными художниками и мастерами. Тургеневские обе постановки были еще одним свидетельством тому.

Тургенев как будто и сам театру своему большого значения не придавал. "Месяц в деревне", однако, - весьма тонко разработанная концертная сюита, и очень становится грустной ее главная тема под конец, хотя неискушенный читатель пожалуй и сочтет развязку эту чуть ли не водевильной. Видел я, однако, "Месяц в деревне" только раз (в превосходных декорациях и костюмах Добужинского) и даже распределение ролей забыл, не говоря уже о деталях игры и постановки. Помню только, что все было "как нужно", все оттенки соблюдены, ничего не смазано, ничего не переподчеркнуто. Для малого оркестра вещь, без тромбонов и бас-туб; но и кларнет, которому, в партитуре этого спектакля, шестнадцать тактов (предположим) было уделено, партию свою сыграл не хуже, чем первая скрипка.

Зато сборный тургеневский спектакль - акт из "Нахлебника", "Где тонко, там и рвется", "Провинциалка"- видел я два раза, и отчетливо помню последнюю из этих пьес (то есть как сыграна она была), а "Где тонко" - тут был случай особый, он все прочие воспоминания затмил...

"Провинциалка", разумеется, пустячок. Но когда графа играл Станиславский, а Дарью Ивановну - Лилина, восхищал этот пустячок, переставал быть пустячком. Да и есть в нем нечто, возможным делающее такое перерожденье: женственные, а не женские только, хитрости Дарьи Ивановны нарисованы рукою мастера. По его указанию, ей двадцать девять лет, графу - сорок девять. Лилиной, вероятно, было тогда под пятьдесят, за сорок наверняка; Станиславскому - больше, а гримом он еще подбавил себе лет, чтобы жена его могла на сцене казаться моложе. Она и казалась. Играла восхитительно.

В комической финальной сцене, где граф, опустившись перед ней на колени, подняться не может, Станиславский чуть-чуть переигрывал (считал, должно быть, что тут это не беда); Лилина - нет. Дарья Ивановна добилась своего, но и самый ее триумф женственностью был смягчен, был тих, грациозен, нежен.

Видел я этот тургеневский спектакль в Петербурге, весной; а зимой (перед Рождеством) оказался на два дня в Москве, и, узнав, что он же теперь в программе, поехал в Камергерский переулок, достал билет: захотелось мне опять "Провинциалку" посмотреть, да и "Где тонко" с Качаловым и Гзовской. После "Нахлебника", однако, появился перед занавесом с чайкой помощник режиссера и объявил, что, по случаю болезни артистки Гзовской, роль ее будет играть артистка Лилина; и попросил у публики прощенья от ее имени: она лишь в то утро узнала, что ей придется играть эту роль.

Как, подумал я, совсем молоденькою станет? Ту роль, которую играла так хорошо молодая и прелестная возлюбленная ее мужа, будет играть она, да еще подготовиться не успев? Но занавес поднялся, и довелось мне увидеть театральное чудо, сравнимого с которым я позже ни разу не видал. Никогда не считавшаяся красивой, стареющая Лилина стала вдруг привлекательней и _моложе_ Гзовской. Играла она во много раз лучше, чем та. Или верней, та исполняла свою роль безукоризненно, а Лилина гениально. В сцене у рояля, где Качалов наклоняется к ней, руки ее на клавишах были так выразительны, такое в повороте головы, в движении пальцев, казавшихся девическими, было юное кокетство, что уже этим одним зачеркнула она игру Гзовской, и продолжала ее зачеркивать все смелей - но и все нежнее, все милее - с минуты на минуту, до конца.

Совсем как Гофман, однажды, сыграл на своем клавирабенде пустячок "Тарантеллу" Листа, а затем приехал Бузони, сыграл ее на бис, после бурных и повторных вызовов: Гофман был зачеркнут, да и "Тарантелла" стала чем-то совсем другим, не тем, чем она была. Только здесь, в театре, еще чудесней случилось чудо, потому что Лилина одержала победу не над одной Гзовской, но и над собой. Победила свою некрасоту, приближающуюся старость, судьбу победила на короткий этот час,- всю

механику жизни человеческой и смерти. Ничем другим не победила, как своею волей и могуществом своего дара. Память о ее победе, до смерти моей, во мне не умрет.

Пушкинский спектакль

Все ждали его с нетерпением. "Пир во время чумы", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость"! Пушкина, в те годы, гораздо живее чувствовали, чем лет за двадцать до того, да и когда старцы, Достоевский и Тургенев, возносили ему хвалу в своих речах. "Маленькие драмы" ставились редко, даже на любительских спектаклях. Многие их считали непригодными для сцены. Как их играть, в каком тоне, никто, в сущности, не знал. Художественный театр, по своему обыкновению, готовил постановку тщательно и долго. Декорации и костюмы заказаны были Александру Бенуа; тут опасений не было, и вышли они на славу. А вот само действие, игра, и прежде всего стихи, - ведь не какие-нибудь, пушкинские... Гадали: выйдет или не выйдет? Когда срок пришел, многие решили, что вышло; но были и не досидевшие до конца премьеры, а Брюсов, говорят, в самом ее начале, демонстративно покинул зал. В Петербурге мнения столь же резко разделились. Все поэты, все читавшие поэтов - читателей у них было все больше - оказались на стороне Брюсова. Дело было в стихах, в чтении, произнесении стихов.

"Моцарт и Сальери" и "Каменный гость" были поставлены и сыграны превосходно. "Пир во время чумы", открывавший спектакль, помню смутно; не обошелся он без режиссерской отсебятины и эффектов, не предначертанных автором. Но Бог с ними, - не с эффектами только, но и с наилучшим качеством постановки и актерской игры во всех трех пьесах. Ведь стихами они написаны. Куда же делись стихи? Я был потрясен: одна Германова произносила их так, что они оставались стихами. Когда я познакомился с ней, я все хотел спросить ее, как это Станиславский и Немирович потерпели такой разнобой: выходило, что роль доны Анны стихами была написана, а все остальное какою-то странной прозой. Неужели на репетициях различие это даже и замечено не было? Неужто все прочие читали стихи по-актерски (т.е. как в то время они читались огромным большинством актеров и актерствующих эстрадных декламаторов), вовсе об этом и не думая, считая, что "как же иначе их читать?", и даже не слыша, что Германова читает их иначе? Но я так и не решился такого вопроса ей задать. Может быть

и она сама различия не осознавала. Безотчетно, любя стихи, она не совсем устраняла их при чтении, а партнер ее, Качалов, как и режиссер, если что-то странное (для них) в таком чтении и уловили, то решили с этим примириться, чтобы не выбивать ее из колеи.

Тут, однако, мне скажут - чего доброго и теперь еще - иные актеры и театралы: все-то вы о чтении твердите! Актер не читает, он живет на сцене, он этой жизнью зрителя должен заразить, - волнением своим, чувством, а разве в жизни стихами говорят, чувства свои стихами выражают? Если так, отвечу я - уже в юности моей так бы ответил, уже тогда поколению моему поэтами был подсказан такой ответ - не ставьте, не играйте пьес, написанных стихами. Авторы их, будучи поэтами, заранее позаботились о том, чтобы все выражаемое их действующими лицами было <u>прежде всего</u> выражено стихом, движением стиха, смыслом его, но звучащим смыслом, и лишь во вторую очередь ходом действия, мимикой, игрой. Это предоставлено вам, актерам, а если и предписано, то лишь в чертах очень общих, чего о словах и стихах сказать нельзя. Поэт не дал вам права стихи нестихами заменять, заменять отсебятиной его поэзию, жизненной будто бы выражать то - да ведь оно уже и не то - что выразил он стихами.

Подымается занавес. Станиславский-Сальери сидит в изящном кресле осьмнадцатого века, с высокой спинкой. Великолепный шелковый халат и белый парик очень ему к лицу. Жалеешь, что нельзя тут же и зааплодировать. Но вот он начинает свой длинный монолог:

"Все говорят: <u>нет</u> правды на земле, но правды нет <u>и выше.</u> Для меня <u>так</u> это ясно (как простая гамма). Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда <u>высоко звучал</u> орган-в-старинной-церкви-нашей, - я слушализаслушивался, слезы-невольные-и-сладкие текли..."

Или, немного дальше:

"Труден первый шаг; и скучен первый путь. Ремеслопоставил-я подножием искусству. Я сделался - ре-ме-слен-ник: перстам придал послушную-сухую-беглость и верность... уху. Звуки умертвив, музыку я разъял... как труп. Поверил-я <u>алгеброй</u> гармонию".

Или, в конце того же монолога:

"Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанной, вживе-песок-и-пыль грызущей бессильно? Никто!.. А ныне - сам скажу - я ныне завистник. Я завидую; глубоко, мучительно завидую."

За точность передачи не ручаюсь, да и для неточной графические средства недостаточны. Но стихи он уничтожал именно этим способом, да и многим интонациям придавал какой-то рассудительно-бытовой, условно-резонерский оттенок, тогда как в других своих ролях он готовых привычек актерской речи, традицией установленных для разных "амплуа" весьма искусно избегал. Когда, обращаясь к Моцарту, он с расстановкой произносил -

"Какая глубина! Какая ясность и какая стройность! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; я знаю, я".

А тот отвечал:

"Ба! право? может быть...

и после ферматы или воздушной паузы, в другом тоне прибавлял:

"Но-божество-мое-проголодалось",

он с тем же, а то и с бо́льшим правом мог бы сказать:"Должен тебя, однако, уведомить, что божество мое проголодалось".

В таком же роде начинался и "Каменный гость". Качалов говорил:

"Дождемся ночи здесь. Ах, наконец достигли мы ворот Мадрита! Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь? (...) Узнать меня нельзя?"

И Лепорелло (не помню, кто играл эту роль) отвечал:

"Даа! Где уж тут Дон Гуана признать! Таких, как он, такая бездна!" Конечно, не говорил он "где уж тут Дон Гуана", а говорил "Дон Гуана мудрено", но результат был тот же. Стихотворец Пушкин превращен был в прозаика, но не в прозаика-Пушкина, потому что проза Пушкина не похожа на эти сквозь мясорубку пропущенные стихи. - А в начале последней сцены, стихами Доны Анны, которые стихами и звучали,

Я приняла вас, Дон Диего; только
Боюсь, моя печальная беседа
Скучна вам будет; бедная вдова
Все помню я свою потерю. Слезы

С улыбкою мешаю, как апрель.

Что ж вы молчите?

Качалов ответствовал такими анти-стихами:

Наслаждаюсь...

Молча, глубоко...

Мыслью-быть-наедине-с-прелестной Доной Анной.

Здесь... не там... не при гробнице

Мертвого... Счастливца!

и так далее. Все так и шло. От первого поднятия занавеса до конца спектакля. Нет, не аплодировал я в тот вечер. Злой и грустный, прегрустный уходил домой. Дружно, все эти знаменитые – и превосходные – актеры весь вечер издевались над Пушкиным. Как тут было не разозлиться, не огорчиться? Именно потому, что дорог мне был этот театр. И теперь, в самую давнюю даль улетев, остался дороже всех других.

Французы в Михайловском театре

Мариинский был (обивкою кресел и отделкою лож) голубой, Александринский - малиново-красный, Михайловский - желтый. Так было; не знаю, так ли это теперь. Зал Михайловского, наискосок от Русского музея, таких же приблизительно размеров, как Александринского; но своей труппы у него не было. С осени до Великого Поста давала там спектакли французская труппа, приезжавшая из Парижа. Немецкие спектакли, великопостные, хоть я и учился в немецкой школе, не очень меня привлекали. Зато на французских бывал я частенько, и в школьные годы, и в первые студенческие.

Это был совсем другой мир, по сравнению с любым русским театром, в Петербурге, в Москве, где бы то ни было вообще. Претензии французов этих с Михайловской площади были куда менее высокие, чем лучших наших столичных театров, но уровень актерской игры - и сыгранности - был выше, чем во всех наших театрах, кроме Московского Художественного, где почти каждый актер был исключительно одаренный актер, и где сыгранность достигалась огромными усилиями на бесчисленных репетициях. У французов она возникала сама собой. Играли они легко, непринужденно, дружно, в быстром темпе, весело, и почти всегда очень хорошо. Никаких своих Варламовых, Давыдовых или Станиславских у них не было. Декорации - верх банальности. Режиссура - всякой изобретательности и самого скромного воображения лишенная, но в привычной механике очень умелая. Ни "Дон Жуана", как Мейерхольд, ни "Мнимого больного", как Станиславский и Бенуа, наши михайловцы поставить не могли бы. Мольера они играли, как с незапамятных времен все играли его во Франции. Приезжал Люсьен Гитри, но я лишь позже, в "Мизантропе", сразу по приезде моем в Париж его повидал; без особенного, да и без всякого восторга. Ставили наши французы изредка Корнеля и Расина, но я на их "классические" утренники, будучи школьником, не ходил, хотя они как раз для школьников и предназначались. Ходил смотреть обычный "бульварный" - т.е. театров, на парижских "больших бульварах" расположенных - репертуар, не подымавшийся выше Ростана (его "Орленка" или "Сирано де Бержерака"). В отличие

от московской почти-сверстницы моей, Цветаевой, я этого автора и в юности отнюдь не "обожал". Считал первую из этих пьес до невозможности ходульной, даже и Сару Бернар не пошел бы в этой роли смотреть (увы! я и вообще ни в какой ее не видал). Зато актер - не помню его имени - игравший Сирано́, так заразительно, и даже так стихотворно выпаливал стих за стихом из-под своего наклеенного носа, и все прочие вторили ему так бойко и быстро - du tac au tac - что спектакль, виденный мною лет шестьдесят тому назад, памятен мне и теперь; он мог бы примирить меня и с совсем микроскопическим недоРостаном.

Играли на этих подмостках разное, но по преимуществу веселое: от Фейдо до Флерса и Кайаве; всё сообща, имевшее успех на парижских сценах. Успех все это имело и у нас. Театр, сколько я помню, был всегда полон, хотя билеты (не слишком дорогие) достать на его спектакли не стоило чрезмерного труда. И успех этот был оправдан, - при невысоких требованиях к драматургии, но отнюдь не низких к актерской игре. Да и к драматургическому уменью построить сценарий, сочинить и поперчить диалог, дать пищу актерскому искусству. Искусство это было, хоть и не самой высокой марки, но зато равномерно распределенное, при достаточных индивидуальных оттенках. Лучше всего проявлялось оно не в драмах и в комедиях, - не задумчивых или всерьез сатирических, а в самых легких, не - далеких от фарса, от водевиля, но все-таки не впадавших ни в фарс, ни в водевиль. Тут-то как раз подражать этим актерам и было всего труднее, - быстроте их рефлексов, разговорного темпа, но главное, при всей обывательщине тем и текстов, интеллектуальности (да, да, иначе не скажешь) их речи и их игры. "Обывательщина", это из репертуара давно отошедшего к праотцам Д.С.Мережковского, и применялась им такая квалификация ко всем будничным, бытовым разговорам, не затрагивавшим никаких "вершин" или "проблем". К пьесам среднего парижского репертуара она подходит как нельзя лучше. Но игрались эти пьесы (и до сих пор играются) не "душой и телом" и, тем более не "нутром", а умом, сознанием, кончиками нервов, при помощи быстрой жестикуляции и хорошо подвешенного языка. Это я интеллектуальностью и называю. Шекспира так играть

нельзя. Но нешекспировские те пьески это как раз и спасало; спасало и те, где парочки целовались взасос или выскакивали в пижамах из двуспальной кровати. Мне, в русском переводе, таких пьес, или самодельных наших такого рода, видеть не довелось: театров, дававших их я не посещал. Но некогда, в позднейшие времена, попал я случайно, в Берлине, на переводную французскую такого пошиба. До первого антракта не досидел. Неловко мне стало, да и тошно глядеть на подтяжки отстегивавшего жирного jeune premier и на его жеманную, в цветистом дезабилье, упитанную партнершу. Да и слушать их одышкой наделенные, при переводе, реплики было все равно, что пить тепловатое пиво, вместо шампанского, и вместо бисквита, сосисками напиток этот заедать.

Сдается мне, что и у нас, в каком-нибудь Театре-Буфф, что в доме братьев Елисеевых, на Невском, было бы не лучше. Не совсем похоже, но не лучше. Даже итальянцы или испанцы этого скольжения по скользкому, с помощью такта и ума, не знают и не умеют воспроизвести. Конечно, теперь... Но и теперь, когда в Париже играют Фейдо (а хоть одну из его ха-ха-ха-комедий ставят едва ли не каждый год) играют его все так же, как более полувека назад, и театр всегда полон: больше представлений выдерживают эти пьесы, чем очень серьезные, но и чем вовсе непристойные. Я же к шампанскому никогда пристрастия не имел, да и не

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино,

а поскромней шипучку предлагали нам на Михайловской площади, но что поделать - в жизни я ему и ей предпочитаю иные рейнские или итальянские вина; не на сцене.

И, конечно, французский репертуар Михайловского театра к этой интеллектом обессивушенной скользкости не сводился. Двуспальную кровать на сцене видел я там не больше двух-трех раз, а в театре этом до первой войны побывал наверное раз пятьдесят или сорок. Уже французский язык меня там радовал, который так рано научила меня Зеличка любить, да и вся манера жить на сцене этих лицедеев, такая легкая, живая и правдивая (на поверхности, но ведь и это уже не мало). Никаких подчеркиваний, настаиваний, пояснений: предполагалось, что публика и сама с полуслова все поймет. И в самом деле чувствовался тут какой-то

- редкостный - союз между публикой и сценой. Не на самом высоком, но и не на низком уровне.

Помню почему-то трех актрис этого театра, но ни одного актера. Сюзанну Мёнт, уже немолодую, которую очень любили в Петербурге, где она играла много лет. Роджéрс, неизменно встававшую на цыпочки в сильно патетических местах, и которую старушкой видел я однажды в Париже (она стала женой Клода Фаррера) и беседовал с ней. Габриэллу ("Габриэль") Робинн; я был издали даже чуточку в нее влюблен. На архангела (Боттичелли или Данте Габриэля Россетти) не была она похожа. Была цветущего здоровья молодая женщина, полнощекая немножко, так что и на актрису не походила. Играла, тем не менее, превосходно. Бравó всем трем и всем прочим кричу, над бездной лет. Не брáво, а именно бравó.

"Царь Эдип" в цирке Чинизелли

Немецкие великопостные спектакли, в том же Михайловском театре, где с октября до масленицы играли французы, посещал я редко. Видел там однажды что-то шиллеровское, кажется, "Дон Карлоса", или может быть я это путаю со школьным спектаклем нашего училища. Тогда прошу прощенья у почтенной немецкой труппы: удовольствия я от этого спектакля не получил. Прекрасного "Вильгельма Телля" так мне за всю жизнь повидать и не удалось. Вот чего нельзя ставить в странах с диктаторским режимом: на пятисотом представлении, в малых, на пятитысячном в больших, рушится режим. Не видал я и "Разбойников", не видал Валленштейновской трилогии, не видал и только что мною перечитанной, непревосходимой по нелепости и неправдоподобию мелодрамы "Коварство и любовь". Зато Шекспира я видел в исполнении михайловских немцев: знаменитого Поссарта в роли Шейлока, считавшейся одной из "коронных" его ролей. Стар он был уже, "старый Поссарт", очень стар. Играл отчетливо и благородно, но как-то холодно, сказал бы я даже безучастно: что-то в нем, как будто, человечески-участливое угасло, больше не могло "участвовать". А концертная мелодекламация его (тут же, наискосок, в Дворянском Собрании, на концерте Зилоти) в шумановском "Манфреде" и вовсе не пришлась мне по душе. Да простит меня его тень в Аиде; мелодекламацию я терпеть не могу; а сам он, лет за десять до того, как я его видел, вероятно был и впрямь большой актер.

О другом немецком актере, на много его моложе, более яркое осталось у меня воспоминание. Он играл в труппе Рейнгардта и приехал, накануне войны, с этой труппой из Берлина, чтобы играть, ни больше, ни меньше, как царя Эдипа, в одноименной трагедии Софокла, поставленной Рейнгардтом совсем по-гречески, - то есть, конечно, в немецком переводе, но с реконструкцией античного театра, с актерами в масках и на котурнах, с хором в "орхестре", т.е. на авансцене, ниже сцены, - совсем как в Афинах пятого века до нашей эры. По замыслу. Конечно же, только по замыслу.

Актера этого звали Александр Моисси. Слава его в Германии была велика. Я видел его позже в Париже, куда он приез-

жал в составе, кажется, той же труппы (до Гитлера, конечно) играть Гамлета. Гамлет Лоренса Оливьера (еще гораздо позже) понравился мне больше, был, на мой взгляд, ближе к "настоящему" шекспировскому Гамлету. Моисси истолковал эту знаменитейшую из ролей парадоксально, был, однако, этим особым, особо истолкованным Гамлетом, или становился им каждый раз "до мозга костей", и зрителей, пусть и несогласных с такой интерпретацией, покорял, покуда длился спектакль. Покорил и меня, помню до сих пор иные его интонации, движения, помню его вкрадчивый, вопрошающий, ни в чем до конца не уверенный голос. Он так всю роль и провел: вкрадчиво, но и въедливо. Играл нервического молодого человека, совершенно раздавленного навязанной ему задачей, совершенно неспособного стать мстителем, судьей, восстановителем закона и престола, только в предвидении смерти черпающего силы возвыситься до бросающего ей вызов подвига. Лучшими моментами его игры были минуты отказа, самоуничижения, молчания, раздумья... Но я не об этой роли собирался говорить. О совсем непохожей на нее царя Эдипа.

Играл он этого царя царственно. Величественно с самого начала, при всей доброй воле дознаться до истины. Величественно, строго, в том же - дорическом - стиле, в котором воздвигнут был фасад похожего на храм дворца, между чьими колоннами выходил он на крыльцо, откуда вели вниз крутые высокие ступени; в том же стиле, в каком падали прямые складки его белого хитона, покрывавшего котурны, так что казался он выше человеческого роста, и эта вертикаль его фигуры еще подчеркивалась узкой, вверх подымавшеся маской на его лице. В последнем действии, однако, маски этой больше не было. Он являл нам свои окровавленные глазницы. Не при нас он пряжками Иокасты вырвал себе глаза, но кровавые дыры были показаны нам, и слышали мы, до того, стихающие его вопли, а потом надломленный, потерявший звонкость голос, когда спускался он по крутым ступеням вниз, к хору - и к нам, со всех рядов амфитеатра в оцепенении глядевшим на него. Играл он и тут, в этом заключении трагедии, прекрасно. Ужас вызывал и жалость, что ведь и требуется по Аристотелю; но очищение, ка́тарсис, мы бы скорей, я в том уверен, испытали, если бы финал трагедии был выдержан в том же строгом стиле, не выходящем за пределы слова и стиха, стиле, обращенном, конечно, к нашему чувству и со-чувствию, но не насилующему

их, не заставляющему нас чуть ли не бросаться на помощь к удрученному сверх меры, кровавому, вздрагивающему от боли - вот-вот скатится вниз по высоким ступеням - уже не царственному, - а у Софокла он царствен и тут - царю.

Виноват был в этом не Моисси; виноват был Рейнгардт. Этот реалистический, и археологический, режиссер, очень неплохо был поначалу археологией надоумлен, да и скован своим же решением постановку определенным образом стилизовать. Но в финале не выдержал. Забыл книги, прочитанные им о греческой трагедии и греческом театре; перестал помнить о Софокле и стал думать о том, как должен себя чувствовать человек, только что выскребший себе глаза, и мать которого, ставшая его женой и родившая ему детей, только что повесилась на верхней балке супружеского ложа. Удалось ему и лучшему своему актеру помыслы эти внушить, который, кажется мне, все-таки приподнял свою игру над тем, чего хотелось режиссеру, - забывшему, должно быть, что греки тщательно избегали всего, способного вызвать чересчур прямую, физиологическую или, подлинно греческим словом пользуясь, не духовную, а соматическую взволнованность. Но было и другое обстоятельство, в результате которого, спектакль этот, быть может, и лучше запомнился мне, но оттого лучше запомнился, что вызвал очень смешанные чувства.

Не знаю в каком зале - кажется, в специально для него построенном - играли "Царя Эдипа" в Берлине. В Петербурге он шел в цирке Чинизелли. Это, вероятно, была единственная возможность для Рейнгардта построить у нас свой дворец-храм, осуществить весь свой эхт-грихиш замысел. Но если срезана была этой псевдо-мраморной дорической архитектурой часть цирковой окружности, то весь остальной амфитеатр по-прежнему блистал красно-золотыми ярусами с аляповатой их отделкой, та же огромная люстра свисала с потолка, и арена, частично превращенная в орхестру, глядела все-таки ареной. Да и пахла ею. Цирковой какой-то запах - смесь конского помета с пушной вонью звериных клеток и сырой поливаемого водой песка - подымался от нее к самым верхним ярусам, мешал Софоклу, и даже игра Моисси вполне победить его не могла. Ведь наверное девять десятых зрителей побывали, и не раз, в цирке Чинизелли, до того, как взяли билет на "Царя Эдипа", и если

приковывала сперва к себе наш взгляд строгость архитектуры и строгость царственной игры, то постепенно цирковые позолоты, запахи и воспоминания вступали в свои права, и мне, по крайней мере, все казалось, что вдруг да и появится на арене сам директор цирка во фраке, в цилиндре, длинный хлыст держа в руке, щелкнет им с непререкаемым авторитетом, и тотчас наездница в балетных туфельках и белой пачке, сверкая стеклярусным ожерельем и растягивая рот в ослепительную улыбку, выпорхнет на вороном коне, стоя на одной ножке, а другой чуть касаясь седла, и раздастся гром аплодисментов, - как раз в ту минуту, когда ослепивший себя царь споткнется, рухнет и скатится со ступени на ступень под копыта черному коню.

Сколько лет прошло! Это мне кажется сном. Смешным, и страшным, и вещим. Разве не прожил я жизнь среди в цирке разыгрываемых трагедий? Кровь человеческая лилась; мозг человеческий вытравляли серной кислотой. Экспроприатор с кавказским говорком - "кэжится ясно?" - на этих ступенях стоял, посылая на муку и смерть в лагеря миллионы людей, ему же притом и рукоплескавших. И тот полотер - виноват, маляр - усиком вверх, что напялил-таки на себя, по волеизъявлению народа, цилиндр, фрак, белый галстук директора цирка, чтобы газовые камеры пустить в ход, чтобы миллионы людей искалечить и убить. А потом - заплечных дел мастера всех мастей, изготовители взрывчатых писем, бомбометатели, хватающие заложников, кромсающие на куски без разбору женщин и детей; лакействующая, жалкая, прекраснодушно-порнографическая Европа, где сосед предает соседа за ведро керосина, за подачку от злейшего врага.

Нет, довольно. Ослепнуть, как он. Кровь на ступенях.

Запах львиных клеток. Арена.

Пора проснуться наконец.

Детство кинематографа

В первые свои годы, он был до святости невинен. Помню его, царя нашего и бога (нашего, не моего) с тех времен, когда под стол пешком он уже не ходил, но до совершеннолетия, даже в немом своем бытии, отнюдь еще не дорос.

Кинематограф. Три скамейки...

И в таком облике я его знал; совсем, как в стихах Мандельштама, 1913-го года. Но и в более раннем, по части зрительного зала менее простецком, а по части самого спектакля еще более младенческом.

Не удержать любви полета.
Она ни в чем не виновата,
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.
А он скитается в пустыне -
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини...

Лубочные романы (которыми, не грех сказать, пробавляется он частенько и теперь, а нелубочные делает лубочными) только в первые мои студенческие годы и стали ему доступны, а в школьные он о таких длинных "метражах" и догадываться не смел. Пробавлялся совсем коротенькими, или чуть подлинней, причем из этих и тех составлялась программа на целый вечер, куда включались и отдельные невзыскательно-концертные или жалостно-балетные или семейно-мьюзик-холлные номера, тем более, что без тапёра все равно нельзя было обойтись, как упомянуто в том же стихотворении:

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

Жил я тогда на Малой Конюшенной, в конце ее, на углу Конюшенного переулка. И вот, вскоре после того, как мы переехали на эту квартиру, открылись, на той же стороне улицы (левой, если глядеть стоя спиной к Казанскому собору), в двух шагах от нас, а друг с дружкой рядом, два заведения, или учреждения, прогрессивней которых и представить себе ничего

нельзя, - но и добродетельней тоже: кинематограф, в чистеньком, белом, с хорошими стульями, зале, программы которого отличались щепетильнейшим целомудрием, и нечто вроде кафе или tea-room'а, но где ни кофию, ни чаю не подавали, а сервировали, в хрустальных сосудах и на белых скатертях, одну лишь Мечниковым только что пущенную в ход болгарскую простоквашу. Сахарный песок полагался ей в придачу; можно было и варенья или печенья попросить. Целебные свойства ягурта - или йогурта - не очень меня интересовали, но казался он мне все-таки вкусней обыкновенной простокваши, и когда школьный друг мой Шура вечером забегал ко мне, чтобы вместе со мной пойти в кинематограф, мы, в большом антракте, длившемся не меньше двадцати минут, почти всегда отправлялись в соседний, поменьше, поуже, но такой же белый зал, чтобы отведать ягурта, подававшегося девицами постного вида, в белых чепчиках и передниках. Сахарили, глотали ложечку за ложкой, вытирали губы белой бумажной салфеткой и возвращались в кинематограф.

Программа его точно так же была без спиртных напитков, без тэина и кофеина, пресная, кисло-сладенькая, как простокваша. Но ходили мы все же в благопристойное это заведение довольно часто, хоть и не каждую неделю. Скучали - были ведь и другие два антракта, по десять минут каждый - но удовольствие тем не менее получали,трудно представимое для меня теперь, но тогда, при всех пренебрежительных смешках, нами все-таки ценимое. В одиночку мы туда не ходили, а вдвоем охотно. Два с половиной часа, включая антракты, хоть и тянулись порой довольно вяло, но мы паиньками досиживали до конца и расходились по домам безо всякой досады на проведенный в синемашке вечер. Довольствовались малым (как теперь мне кажется); но ведь само уже чудо этих движущихся снимков тогда забавляло. Фокусником был кинематограф, в отрочестве своем, а кто же, или во всяком случае, какой юнец откажется поглазеть на то, как маэстро из только что снятого им цилиндра вынимает и кладет на стол яйцо, бильярдный шар, крынку молока, апельсин и живого кролика? Если же иные фокусы синемашки и тогда казались неуклюжими, то ведь забавляло нас и это, не прочь мы были и на это поглядеть.

Попадались, правда, и совсем несъедобные "видовые" или "документальные" фильмы, всегда, к счастью, короткие. Я их

коллективно называл "Чинка карандашей в Норвегии". Даже два их было, помнится, каждый вечер. Под фортепьянные звуки - меланхолические, бодрые или бурные -чинились и впрямь карандаши, вертелись колесики швейных машин, баркасы смолились и спускались на озера; срубались ели - в Канаде; баобабы спиливались - в Африке; туземцы выплясывали воинственный танец - на острове Фиджи; или воскресные прихожане тихим шагом приближались к своей кирке, где-нибудь в Новой Зеландии. Скучно все это было, отчасти из-за фортепьяно, отчасти по замыслу, отчасти оттого, что было серо: раскрашивать все это в открыточные цвета еще и не мечтали... Но в недохвате этом была и благодать. Не приучали еще - не научились приучать - наш глаз оценивать настоящие краски, живописи или природы, по степени близости их к более или менее ловкой, но всегда обманной их имитации, подлинное имя которой - фальсификация. Неловкая лучше ловкой: она очевидна, а при ловкой (нынешней) как раз и теряется чувство того "чуть иначе", "чуть-чуть", о котором говорил Толстой, и которое отличает искусство от псевдо-искусства, и произведения справедливо прославленных "колористов" от картин их подражателей или от той, порою бурой, а порой и очень цветистой живописи, где вообще никакого колорита нет.

Смешил нас глупый Глупышкин, смешил вовсе не глупый, но одни только гаммы разыгрывавший еще Шарло - уже в котелке, в слишком широких штанах и слишком большого номера штиблетах, заставлявших его так неотразимо спотыкаться: ха-ха!, и еще раз ха-ха-ха! Восхищались мы фраком и лоснящейся от фиксатуара шевелюрой Макса Линдера; млели перед черноокой отцветающей красавицей, Линой Кавальери; да и намечаться уже начал переход от сплошь комических или драматических-до-нельзя коротышек, к фильмам этак минут на́ сорок, из коих поразили нас, в последний наш год, в Пиринеях снимавшиеся "Собаки контрабандистов". Чуть ли не три раза ходили мы этот фильм смотреть. Какие героические псы! Какие отважные у них хозяева! И сколь презренны враги тех и других - жандармы! А какие погони, стычки, перестрелки, какие ска́чки над пропастью! Погони

были вообще козырем тогдашней синемашки. Каких только бегунов и скакунов дву- и четвероногих мы не видели! А локомотивы новейшего образца! А неслыханно совершенные автомобили (допотопными ставшие через десять лет)! Волновало нас все это; но в меру; по нервам не ударяло. Хохотали мы порой до одури (были оба смешливы) или до слез. Но и без смеху, от больших сентиментов всплакнуть приходилось, - мне главным образом, я был сентиментальней. Шура меня, в этих случаях, толкал локтем.

Есть рассказ о Томасе Манне. Живя в Соединенных Штатах, он пошел с приятелем в кинематограф, и когда кончился фильм, вышел оттуда в слезах. Но когда приятель, видя эти слезы, позволил себе отрицательно высказаться о фильме, Томас Манн удивленно на него взглянул:"Искусство у меня никогда слез не вызывает". Слово это было подхвачено, повторялось с тех пор множество раз. Ах как умно, как верно! Творения истинного художника слез не ищут, слез не вызывают, а сам он, если их проливает, то лишь набив свою голову трухой. Но ведь набиванию этому он подвергся добровольно и по-видимому даже с удовольствием... Однако, Пушкин, когда сказал "над вымыслом слезами обольюсь", разве он думал о бульварных романах и лубочных мелодрамах? - Нет.

В этом и вся разница между искусством, которое он знал, и нашим.

Поднимается занавес

Так бывает, наверное, со всяким, кто вглядывается в свое прошлое, если он рано книжки читать полюбил, сборники стихов с трепетом перелистывал, в театры ходил, выставки и музеи посещал, музыку слушал. Вспоминаешь, и непременно себя спросишь, когда же все это началось; или когда "по-настоящему" началось. Когда по-настоящему началась настоящая жизнь. Потому что, для чудаков вроде меня, настоящей жизни нет без участия - пусть и не деятельного, воспринимающего только - в жизни того мира, где не пьют и не едят, где нет ни спариванья, ни размноженья, где зачатие, рождение и смерть не то значат, что в жизни, которой живут все живые, в их числе, конечно, и чудаки. Есть люди, в этот второй мир попавшие без усилий, сызмала; младенцы, чья колыбель вдвигалась в излучину рояля, или прислонялась к шкафу с книгами, как сказано в первой строке одного стихотворения Бодлера, - дети художников, писателей или попросту высоко и широко образованных людей. Я к этим счастливцам, презирающим сплошь и рядом свое счастье, не принадлежал. Не на сцене и даже не в зрительном зале родился. Так, пробрался без билета в задние ряды, люстрой залюбовался, и вот началось, начал и для меня - понемногу, понемногу - бесшумно подниматься занавес.

Когда начал? Не знаю. Но стал ощущать, что поднимется, поднимается, в девятьсот десятом, помнится мне, году. А когда совсем поднялся? - Да разве есть такое "совсем"? Быть может и сейчас осталось ему приподняться на вершок, перед тем, как, падая стремглав, ударить в дощатый настил, и все, что открылось, прикрыть, как будто никогда он и не поднимался. Однако памятен мне, - памятней всех годов, - год девятьсот двенадцатый. Знаю твердо, что именно тогда жизнь, в обоих мирах, открылась предо мной, занавес поднялся, незачем мне стало больше о нем думать. Начался этот год с выставки, где я впервые в оригиналах увидал и всем существом своим узрел из старой выросшую, но уже и порывавшую с ней новую и новейшую, мне современную живопись. Потом в Италии три месяца с лишним провел, - лучшие месяцы моей жизни. Потом в Университет поступил. А незадолго

до Италии, взяли меня за плечи, повернули назад, другой занавес поднялся, и я увидел не в том свете, что прежде, мои пршедшие семнадцать лет. Не в каком-нибудь зловещем или все краски изменившем свете, но все же в другом, и совсем, совсем неожиданном для меня.

Весной предыдущего года я окончил Реформатское училище, но так как реалистом, увы, окончил, а не гимназистом, необходимо мне было, для поступления на историко-филологический факультет, сдать экзамен по латинскому языку, который я и сдал, в январе, при Петербургском Учебном Округе, а перед тем все лето и первую половину зимы готовился к нему. По греческому языку разрешалось уже в университете сдать экзамен (до перехода на второй курс), так что я был свободен, мог и в Италию съездить, с тем, чтобы летом, на даче, за греческую грамматику засесть. О поездке еще до Рождества был разговор; я жил в радостном ожидании Италии. Поеду, сказано было, в марте, с матерью моей и приятелем Шурой, который конкурсный экзамен для поступления в Технологический Институт отложит на следующую осень. Туда поедем через Вену; назад через Мюнхен, Дрезден и Берлин; все эти, все главные музеи Италии увидим. Давно уже меня Эрмитаж к музеям приохотил, а теперь я и насчет Италии осведомлялся; главную книгу, тогда купленную, до сих пор храню. Вёльфлин, "Классическое искусство". Пообтерся зеленый коленкор, иллюстрации бедненькими стали казаться, но не расстанусь с этой книгой: слишком многому научила меня она. Не понимаю, отчего я к живописи, до всех искусств, даже и словесных, пристрастился, при полном неумении рисовать, при глупом моем нежеланьи хоть кое-как рисованию научиться. Но теперь я уже и к скульптуре и к архитектуре присматриваться начал, Петербургом любуясь, Италию предвкушая; того же Вёльфлина "Ренессанс и Барокко" прямо-таки со страстью проштудировал. Однако живопись, французская живопись недавнего прошлого и наших дней, четыре этажа занявшая в особняке княгини Юсуповой, на Бассейной, именно живописностью своей меня восхитила, торжеством выверенного с предельной точностью красочного чувства, о котором наши прославленные живописцы Русского Музея не имели, собственно, ни малейшего понятия. Раз шесть или семь,

а то и больше, я там, на Бассейной побывал; насытиться не мог. А все-таки предстояло мне от Италии получить - догадывался я уже, радостно предчувствовал - больше, несравненно больше.

Вот и март; первый день; день моего рожденья. Получил подарки. К вечеру ожидались гости. Но часов в одиннадцать утра позвали меня в кабинет отца, - рядом с прихожей, небольшой, квадратный, где над письменным столом висел в золоченой резной раме мой портрет, семь лет назад маслом писанный в Гомбурге; портрет мальчика с коротко подстриженными, не успевшими отрасти после тифа волосами, в белой шерстяной матроске с синим воротником. С тех пор как мы переехали на эту квартиру, любил я тут сидеть у окна в кожаном кресле, деревянные ручки которого оканчивались львиной мордой; льву можно было палец засунуть в пасть и пощупать клыки: авось не укусит. Но теперь отец сидел в этом кресле, а мать почему-то за письменным столом, в слезах. И отец был бледен, расстроен. Он взял мою руку широкой своей, уютно шершавой рукой, и неуверенно произнес: "Ты не знаешь, но теперь ты - большой, пора тебе знать. Мы не родители твои, ты не наш сын; мы совсем маленьким, новорожденным взяли тебя у твоей матери, - она нам тебя дала - и усыновили. Если хочешь узнать..." Он запнулся, потускнели его глаза. Я поцеловал его руку, бросился к матери, плакавшей уже навзрыд, обнял ее, но сам не заплакал. Сказал твердо:"Знать ничего не знаю. Вы - мои отец и мать. Других мне не надо. Всё пусть останется, как было. Я вас люблю, как родных. Вы родные мои и есть".

Всё и осталось, как было. Они успокоились понемногу. Вероятно я сказал то самое, что следовало сказать. Да и не мог я сказать другого. Не подозревал до этого ровно ничего. Многие знали, но никто и не намекнул; а если намекали - когда-нибудь, давно - то я не понял намеков. Всякое любопытство я себе в тот же миг воспретил. Не спросил ни о чем, не только их тогда, но и никого никогда. Никто и позже не заговаривал со мной об этом. Мать, по собственному почину, годы спустя, рассказала мне кое-что; очень немногое. У нее были неудачные роды; надежд оставалось мало на удачные. Доктор Левицкий разыскал ей младенца в родильном доме. Привез меня на Морскую.

Положил на тот самый диван, в прежнем кабинете, на который перенесли меня после тифа, на который положили отца после того, как он замертво упал. Я лежал спеленутый и хныкал. Подошел ко мне круглоголовый, усатый, сорокасемилетний Василий Леонтьевич Вейдле. Говорят, я раскинул крошечные свои руки, хныкать перестал, улыбнулся, посмотрев ему прямо в глаза; и грянул неслышный гром, coup de foudre совершился; в этот миг он стал моим отцом. А жена его, по-видимому, не сразу, на год позже, когда, в ее отсутствие, меня чуть не удушил коклюш, стала моей матерью. Но с тех пор, как стала, и оставалась. Ту, что меня родила - изредка я все же о ней думаю - звали Мария Вестгольм. Нянюшкой молодой остзейской или служанкой она была в доме того, женатого, и конечно постарше ее, человека, - Грановского, скажем, (звали его не совсем так, но вроде этого). Не приглянись она ему, не было бы меня на свете.

Окончив рассказ, - может быть знала она и больше, я не допытывался до бóльшего, - мама дала мне записку, твердым и четким почерком написанную: благодарность Марии Вестгольм за будущую заботу о ее ребенке. Подпись тоже была четкая и простая, без росчерка. Хорошая подпись; и фамилия хорошая; склоняется, по крайней мере. Вот бы и взять мне ее для книг моих и статей. Много раз я думал об этом, в былые времена; взял бы, да незаконнорожденным - счастье, оттого и не подобает такому отказываться от подаренного ему имени. Не нравится оно мне, что греха таить. А все-таки никогда я соблазну не уступил псевдоним себе постоянный, какой бы то ни было, придумать. Не из-за матери, пережившей отца на несколько лет, - ее бы это не огорчило - а из-за него. И после смерти его не мог я на это решиться. В Сибири, в двадцатом году, почувствовал, что его не стало; больно мне подумать и сейчас, что он умирал без меня в Финляндии. Хотел меня видеть, меня, только меня. Сильнее крови любовь, если она не пустяк, а любовь. Ведь и тогда, в то первое марта, мама, хоть и плакала, а не верила всерьез, что я от нее отрекусь и отправлюсь в поиски настоящей моей матери. А он - Бог знает почему - и взаправду был обеспокоен; мерещилось ему, что я могу себя почувствовать чем-то обиженным, урезанным в каких-то

(непонятных мне) правах. Он и вообще - человек не слишком открытого сердца, недоверчивый, со многими жесткий - как-то меня над собой, в своем воображении, поднимал, наделял меня безграничными, ему недоступными талантами (никогда о них, впрочем не говоря), считал невозможным, чтобы я провалился на экзамене, не одолел какой-нибудь науки... Он не себя во мне любил. Он любил меня выше, чем любят родные отцы любимых своих сыновей.

Улыбнулся младенец и даровал он ему любовь. Что ж теперь, когда его нет, отвернусь я лицом к стене и возьму назад свою улыбку?

Обетованная земля

Все осталось как было. Едва ли и могло внешне что-либо измениться. Но теми же остались и чувства, как мнимых (вернее, подлинных) моих родителей, так и не признавшего своей мнимости мнимого их сына. Через неделю или две, мы отправились в путь. Отец проводил нас до Вены. Понял я, хоть и молча - мы с ним никогда не говорили "по душáм" - что с его стороны поездка эта подарком мне была ко дню рожденья, ко дню объясненья. Оплату путешествия Шуры он взял на себя. Баловал меня в тот год и по-другому. Когда мы вернулись, я нашел свою просторную "детскую" комнату на даче разделенной: спальня и кабинет. В кабинете был новый книжный шкаф и письменный стол с вертящимся креслом. Будь у меня к тому охота, подарил бы он мне моторную лодку или верхового коня. Но цены настоящей не знал железнодорожным билетам, мне врученным, и врученному матери красному кожаному конверту с письмом Лионского Кредита. Не оценишь этого ни в каких лирах и рублях. Я увидел Италию.

Обетованная земля! Ничего более решающего, для всего дальнейшего в жизни моей, не было, и никогда, за всю жизнь, не был я так безмятежно, длительно и невинно счастлив, как, на ее заре, в эти итальянские сто дней. Нет и воспоминаний у меня более радостных, прочных и подробных. Рассказать? Конца не видно. Надо ими книжку начинать, а не кончать. Столь радостны они, что в одном уж наверно и обманчивы: нет в памяти моей, изо всех ста, ни одного дождливого дня. Солнце да солнце; и не зимнее, даже теперь, в окно мне светит, когда о них думаю, а самое яркое, хоть и не палящее, весеннее. Невзгоды и те хороши; о неприятностях думаю с приятностью. Все смешное - и его было немало - кажется умилительно смешным. Все досадное - словно не было его; давным давно забыл я свою досаду. Степень прошедшего счастья едва ли не этим измеряется всего точней. И еще может тем, что исчезло оно, прошло, а горечи все же нет в том, что стало оно прошлым.

В Вене, на четвертый или пятый день, предосадно уложила меня в постель очередная назойливая ангина. Я ведь даже и последние два реформатских выпускных экзамена в постели сдавал из-за нее. Но тут, вместо недели, прошла она в три дня.

Многоопытный седенький ласковый врач прогнал ее лимонным мороженым, не прибегая ни к смазываньям, ни к полосканьям. Мороженое, доставлявшееся из соседней кондитерской шесть раз в день, было превосходное, а в промежутках я тоже не скучал: каталоги просматривал, золотое тепло Тициана вспоминал и матово-прохладные созвучия Андреа дель Сарто, да и не итальянское кое-что, сыновей Рубенса, например, во дворце Лихтенштейна. Накануне ангины там побывал, а вечером почти на премьере (третьем представлении) Rosenkavalier'a под управлением автора (помогло тут Рихарду Штраусу искусно стилизованное либретто Гофмансталя, исключавшее все надутые и громоздкие громогласности). Так что, пусть и мельком, но габсбургскую столицу повидал, и когда поезд нас уносил далеко, далеко на юг, жалел, что не ближе ее узнал, хоть и думал вновь ее повидать не через сорок с лишним лет, когда мне было суждено - или уже не ее, не совсем ее? - нет, ее, ее, осиротевшую, но милую, дружелюбную, памятливую, вновь увидеть.

На юг, далеко на юг, - потому что из Вены мы прямо отправились в Неаполь. К вечеру проскользнули мимо лагуны (ничего, вернемся, когда станет потеплей, в Венецию), и мчались потом всю ночь, миновали Падую, Феррару, Болонью, Флоренцию, Рим, даже в Неаполе утром не задержались, с пароходной палубы любовались им, завтракали уже на Капри, отдохнули немножко в гостинице, а потом гуляли, вышли к морю. Мама белый зонтик раскрыла, на скамью присела, покуда мы с Шурой, плоских камушков набрав, швыряли их рикошетом вдаль, заставляя сверкать синеву; и пахло йодом, и бездонна была синева вверху и внизу, и неподалеку, на тонких деревцах, вызревали большие, шершавые, толстокожие лимоны. Нашвырявшись до одури, мы сорвали, разрезали один; ново было для нас свежее его благоуханье. Потом в городок вернулись. У крыльца гостиницы крестьянин ка́кисы продавал, принесенные им в большой корзине. Незнакомы были нам эти обетованной земли плоды. Шура их полдюжины съел, до того пришлись они ему по вкусу. Съел и объелся. Пришлось "тете Оле" компрессом и оренбургским платком его обвязывать, горячим лекарственным напитком поить; на утро стало ему лучше,

но велела она ему ничего не есть и полежать, и мы с ней без него прогулялись в Анакапри. А на следующий день уже все втроем докарабкались до виллы Тиверия, и подползли мы с Шурой на животах к самому краю отвесных высоких скал и глядели долго вниз, где жидкий, пену над собой выбрасывающий изумруд сражался не на жизнь, а на смерть, с тяжелой густотой сапфира. Так встретила нас Италия.

Или, смеха ради, рассказать о том, как она встретила нас у самой границы своей, в Удинэ? Отобедать там надлежало. Деревянный поднос со снедью и вином вручили нам в вагонное окно. Я налил вина маме, начал наливать себе, но заметил торчавший в горле графинчика стебелек - хвать, и вытащил за хвост мертвого мышенка. Маме, уже хлебнувшей глоток, чуть не сделалось дурно. Шура выскочил на перрон, искать буфетчика. Тот взял графин и, театрально размахнувшись, швырнул его об стену, так что он разбился на мелкие куски, а затем преподнес с низким поклоном Шуре большую соломой обернутую флягу белого Кьянти. Отпили мы из нее самую малость; мама, отведав мышиной настойки (не причинившей ей, впрочем, ни малейшего вреда) не могла ни пить, ни есть; а ночью фляга, неосторожно подвешенная на своей соломенной петле, упала и разбилась, после чего наперекор всем стараньям, винный дух не покинул нашего купе до самого Неаполя.

Пустяки, пустячки. Вроде того, как в Риме, ровно на один день, так почему-то заболела у меня нога, что я утратил способность передвигаться, и мама с Шурой без меня присутствовали на папской аудиенции. Смешные маленькие злоключения. Зачем вспоминать о них? Затем, что Италией мне они милы. Всерьез поведу о ней речь, если будет мне дано продолжить мои воспоминанья. Это новый их раздел. Здесь, на обетованной мне земле, отрочество мое в юность перешло. Что ж влюбился я там впервые по-настоящему, что ли? Вот, вот, но соперниц у нее не было: в одну Италию. Сто дней этих прожил без вожделенья, как и без телячьего влюбленья; ни до того, ни до другого, на удивление потомству, я еще тогда и не дорос. Любовью любил. Первая она была и основная, воспитательница всех любвей, узнанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я быть может

никогда, - к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловеченьи этом истории. Эрос такого рода захирел и выветривается теперь, но многим был свойствен в прошлом веке и в начале нашего века. Ему научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не встретил, не стал бы я тем, кем я стал. - Кем я был. - Не написал бы, пожалуй, и этих моих детских и отроческих воспоминаний.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Стр.

Часть вторая

Стр.

